

34
900

ПЗ4
900
Кн. 90
1968

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать шестой год издания

Кн. 90

НЬЮ ИОРК

1968

ГОС ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Ленинград

Анн

1/692

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	5
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	26
<i>Странник</i> — Упразднение месяца, поэма	29
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	37
<i>Л. Луиц</i> — Путешествие на больничной койке	39
<i>А. Величковский</i> — Стихи	58
<i>Л. Ржевский</i> — Пилатов грех	60
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	81
<i>Г. Адамович</i> — Оправдание черновиков	83
<i>И. Одоевцева</i> — Стихи	96
<i>О. Ильинский</i> — О поэме А. Белого «Первое Свидание»	98
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	112
<i>Л. Зуров</i> — Дон Аминадо	114
<i>И. Елагин</i> — Стихи	121
 ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Т. Алексинская</i> — 1917 год	124
<i>Воспоминания А. Д. Нагловского</i>	148
<i>К. Кромиади</i> — Последний рейд	177
 ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>К. Павлов</i> — Шолохов и КПК	194
<i>Н. Тимашев</i> — Как возникают войны	205
<i>Д. Кончаловский</i> — Советские вузы и студенчество	212
<i>Д. Вайт</i> — Военное обучение в школах СССР	236
<i>В. Ледницкий</i> — Почему Пушкин не окончил «Египетские ночи»	244
<i>Н. Валентинов</i> — О русском мессианизме	256
 ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Б. Унбегаун</i> — Андре Мазон	265
<i>Ю. Иваск</i> — В. Л. Пастухов	269
 СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:	
Обращение сов. литератора Ю. Мальцева к У-Тану	271
<i>П. Липкен</i> — Неологизмы Карамзина	278
<i>Р. П-в</i> — Заметки	279
<i>Н. Ельницкая</i> — Алые паруса	282
 БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>С. Пушкарев</i> — Записки русской академической группы в США. <i>Т. Петровская</i> — Requiem. <i>А. Ahmatova</i> — Marie Under. <i>Н. Ильинская</i> — Art Treasures of Russia. <i>В. Зава-</i> <i>лишин</i> — М. Булгаков. Мастер и Маргарита. <i>Ю. Иваск</i> — Новелла Матвеева. Душа вещей. <i>Л. Земельс</i> — <i>E. Lyons.</i> <i>Worker's Paradise Lost.</i> <i>Г. Моголянец</i> — <i>P. Debreczeny.</i> <i>N.</i> <i>Gogol and His Contemporary Critics.</i> Книги для отзыва	285

1917 ГОД

ЗАПИСИ

МОСКВА. Теперь говорят только шопотом. Слухов, слухов без конца. Говорят, что царицу Александру Феодоровну постригут в монастырь, государь будет отстранен, юного наследника объявят царем, а регентом будет Михаил Александрович или вдовствующая императрица.

Народная молва называет императрицу Александру Феодоровну «злым гением государя». Все несчастья приписывают ей... неудачи на фронте... чехарду министров... все ей... Ей не могут простить Распутина. Этот сибирский мужик публично хвалился, что все, что он ни прикажет, государыня исполняет. Двор, великие князья были поставлены в зависимость от Распутина. Лишь небольшая кучка распутинцев была довольна. Распутин уже нет, но его злое влияние все еще живет... Его ставленники у власти.

Говорят, что 23 февраля в Петрограде на улицах были

Мы приступаем к печатанию ценного исторического документа — «1917 год». Это записи Татьяны Ивановны Алексинской. Т. А. была давним членом РСДРП, в 1917 г. примыкая к правому крылу — к группе Плеханова «Единство». Муж Т. И., недавно скончавшийся, Григорий Алексеевич Алексинский, быв. член Гос. Думы, тоже был социал-демократом, сначала большевиком, близким к Ленину, а потом, порвав с большевиками, Г. А. работал с Г. В. Плехановым в «Единстве». Г. А. Алексинский (вместе с В. Л. Бурцевым) был первым, кто разоблачил в печати в 1917 г. связь Ленина с немецким ген. штабом и получение Лениным от немцев миллионов золотых марок на подрывную работу в России. К сожалению, русские социалисты, и меньшевики и эсеры (за единичными исключениями), считали разоблачения Г. Алексинского «клеветой». После I-й мировой войны ген. Людендорф и известный немецкий социал-демократ Э. Бернштейн публично подтвердили правильность этих разоблачений. А после II-й мировой войны правильность разоблачений Г. Алексинского была подтверждена опубликованием документов из архива немецкого министерства иностранных дел. РЕД.

волнения — собрались толпы народа. Были столкновения с полицией. «Долой правительство!» — раздавались крики в толпе и в хвостах у булочных. Правительство не смогло справиться с организацией продовольствия.

24 февраля столкновения на улицах в Петербурге принимают характер мятежа. 26 февраля правительство новым указом откладывает очередную сессию Государственной Думы. Дума не хочет подчиниться. 27 февраля в Петербурге восстание. Солдаты и казаки братаются с гражданами. Полки: Литовский, Вольнский, Преображенский и саперы — вместе с народом против полиции.

В чьих же руках власть в Петербурге?

27-го мне не сиделось дома. Мой брат Иван позвал меня в университет на доклад о какой-то новой реформе. Прошло более часу с назначенного времени, доклад не начинался. Наконец, на кафедре появляется взволнованный профессор-докладчик и говорит:

— В Петрограде восстание. Будем ждать дальнейших известий.

Все затаили дыхание... Не успели произнести и слова, как другой профессор появился на трибуне:

— Получена новая телеграмма. Петроград в руках восставших... Родзянко послал государю телеграмму, в которой он говорит, что решается судьба родины и династии. Государственная Дума выделила из себя «Временный Комитет Государственной Думы», который выпустил воззвание, где заявляет, что взял на себя восстановление государственного и общественного порядка.

Присутствующие загудели, как рой пчел. Все боялись радоваться, так невероятны показались эти вести.

Из университета я с братом возвращалась домой по той исторической Никитской, где бывали сходки, демонстрации, избиение студентов и рабочих черносотенцами после похорон Баумана.

Неужели всему этому конец? Конец навсегда?

— Ваня, неужели мы дожили до момента, о котором мечтало столько поколений, во имя чего боролись декабристы и народолюбцы?

Дома родители не спали. Ждали нас.

— Что слышно? — встретил нас отец.

Брат быстро стал рассказывать новости. Мама плакала от

радости, а папа беспомощно ходил по комнате и говорил:

— Вот, дети, и мы дожили. Довелось и нам увидеть свободу! Закончится теперь война победоносно для родины, и умереть можно спокойно!

— Зачем умирать? — прервал брат, — теперь только и жить. Ведь, ты подумай, папа, не будет больше обысков, арестов. Будем жить, наконец, как культурные люди, европейцы...

Я поочередно обнимаю то мать, то отца, то брата.

— Теперь я смогу поехать к мужу.

— Зачем тебе ехать, он сам теперь к нам приедет, — говорит мама.

Усталые от тревоги и волнений, мы разошлись поздно.

Я не могла долго заснуть. Как-то не укладывалось в голове все, что произошло. Но если это действительно верно, то кажется, это будет впервые в истории, что революцию творили совместно и дворяне, и пролетарии, и великие князья, и солдаты, и буржуазия, и рабочие.

Мы узнали подробности о том, как создавался Временный Комитет Думы под председательством Родзянко, с участием либеральных и левых — Керенского, умеренных — октябриста Гучкова. Но кроме этого нового правительственного центра, создается центр крайне-левый: самочинно собравшийся Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, связанный с пораженческими кругами: Стекловым (Нахамкесом) и Сухановым (Гиммером).

Государь отрекся в ночь на 3-е марта в вагоне на станции Дно. Из газет узнали, как удивительно просто принял государь предложение об отречении. В этой простоте я вижу не одно безволие, как отмечают многие, а наоборот — большое духовное мужество, которого я, по правде сказать, не ожидала от Николая II.

Что же делается у нас в Москве? Кремль осажден восставшими. Оставшиеся верными старому правительству заперлись в нем. К полудню Кремль сдался. На воротах уже висят афиши, где народ приветствуется с избавлением от старого гнета. По улицам разъезжают грузовики с солдатами, украшенными красными бантами, с красными знаменами в руках. Как приветствует их народ, как радостно кричит им: «Спасибо, спасибо вам!

Братцы наши!» Пришла к нам свобода, давно желанная, долгожданная свобода! Москва вся разукрашена красными флагами, колокола гудят, народ на улицах плачет от умиления. «Свершилось! Свершилось!» Царь отрекся от престола, передав права престолонаследия Михаилу Александровичу. Михаил не принял престола и предоставил разрешение вопроса Учредительному Собранию, которое должно быть созвано в самое ближайшее время. Созыв Учредительного Собрания возьмет на себя Временное Правительство, которое образовалось в Петрограде. В него вошли: Миллюков, Гучков, Керенский, Коновалов, Мануйлов, Львов, Терещенко, Шингарев, Годнев, Шульгин. Все знакомые старые имена. Со второго марта 1917 года они теперь вершители судеб России.

Дежурила ночь в госпитале. Утром я не успела еще надеть чистого халата, как ко мне влетела одна из наших дежурных сестер, крича:

— Татьяна Ивановна! Татьяна Ивановна! В «Русском Слове» напечатано письмо вашего мужа к вам. Вы получили такое письмо?

Я взяла газету из рук сестры. Читаю: «Наше старое правительство, так уверявшее всех, что оно стоит за оборону страны, позволило себе конфисковать письма видного патриота-социалиста, Г. А. Алексинского, к его жене, работающей на одном из фронтов в качестве сестры милосердия». Затем следует выдержка из письма Г. А., где он пишет, что будет рад, если в министерство войдет Гучков, потому что он будет там представлять общественность. Если правительство не пойдет на уступки, то недовольство масс может вылиться в революцию, а революция во время войны губительно отзовется на обороне... «И такие письма конфисковывались правительством!» — заканчивает газета.

А я то волновалась, мучилась, что нет писем от мужа. Мне вспомнился также отказ Российского Красного Креста от зачисления меня в отряд во Францию. А мое возвращение в 1915 году, в декабре, из Франции в Россию, когда я ездила во время своего отпуска навестить моего мужа в Париже. На финляндской границе из-за меня задержали поезд на целый час. Оказывается, был получен приказ из Министерства Внутренних Дел произвести в моих вещах тщательный обыск. Жандармские офицеры перетряхивали каждую вещь моего белья, что-то ища.

— Вы опоздали, — сказала я им. — Надо было искать раньше, ведь я больше года работала в санитарном поезде у самых позиций и не раз под бомбами.

— Таков приказ! — ответил офицер.

А со мной в одном вагоне ехали люди, заведомо прибывшие из вражеской страны. И их не обыскивали.

В первое воскресенье после переворота в Москве организуется манифестация. И уже в организационном комитете раскол по вопросу о «лозунгах»: по какому руслу потечет русская революция? Этот ответ должен быть запечатлен на знаменах и плакатах, которые понесут манифестанты в воскресенье. Пораженцы и большевики заявили, что на их знаменах будет написано «долой войну!» и т. д. Делегации увечных воинов и георгиевских кавалеров заявили, что они не примут участия в процессии при наличии таких надписей. Заседание было бурное. В результате постановлено — на плакатах не должно быть никаких лозунгов, которые могут оскорблять раненых солдат.

Кончились праздники и начинаются будни революции.

Новый (фактический) правитель России Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов выработал и огласил приказ № 1, — отмена отдания чести солдатами офицерам и прочее, что упраздняло фактически воинскую дисциплину и поколебало авторитет офицерства.

Когда газеты разнесли эту весть, здравомыслящие ужаснулись. Ясно, что приказ № 1 деморализует армию. Но он вошел уже в силу. Вчера я ехала на трамвае. В вагоне масса солдат. Входит офицер. Солдаты демонстративно начинают громко и развязно разговаривать, чести не отдают. Офицер ежится, робко стоит в конце вагона с виноватым видом, как будто офицерство является корнем всех зол. Ни один солдат не уступает ему места, а наоборот, сидящие разваливаются на своих местах. Эта сцена произвела на меня отвратительное впечатление. Офицер на первой остановке выходит. Как только он вышел, я обращаюсь громко к солдатам и укоряю их за не деликатность. Ссылаясь на западную Европу, говорю: всюду, где есть армия, а не распущенная банда, существует дисциплина. Разве офицер враг солдата? Разве мало офицеров погибло на полях сражения? Свобода, говорите вы? Чем свободнее человек, тем более вежливым делается он...

Солдаты слушали меня с вниманием, ни один не оборвал грубым словом или протестом. Только один сказал:

— Мы не виноваты, таков приказ. Если не выполним, то стало-быть мы идем против свободы.

Вот как был понят приказ № 1.

Сегодня опять беседую по этому вопросу, но уже со своими ранеными в госпитале. Говорила, что этот «приказ» страшная ошибка. Ему не место во время войны. Один из раненых моих заявляет:

— Да войне-то скоро конец.

— Как конец? Всей европейской войне?

— Нет, зачем европейской, — только нашей... Да вы прочтите сами, — протягивает вечернюю газету, — только что получили.

Я беру газету и с ужасом читаю, что Петроградский Совет Рабочих Депутатов от 14 марта напечатал воззвание к народам всего мира с призывом к скорейшему окончанию войны. Совет не понимает, что союзники не прекратят борьбу, и что результатом его призыва будет лишь триумф пораженцев у нас и сепаратный мир с немцами.

— Да разве можно так писать! Ведь их поймут в том смысле, что они предлагают сепаратный мир, в то время как союзники будут продолжать войну до победного конца! — восклицаю я.

— Да, оно так и есть, сестрица. Сепаратный мир, значит, скоро по домам.

Что только творится кругом. Точно все ослепли, оглохли. Самодержавие пало, потому что плохо вело войну. Долг нового правительства поднять дух солдата и всей России во имя победы. А они, что делают? Почему у нас два правительства? Совет Министров, иначе Временное Правительство, и Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов? Две власти, и каждая говорит на свой лад. Исполнительный Комитет переполнен инородцами. Русских там меньшинство. Грузины... евреи... латыши... Конечно, у них есть свои интересы и им нет дела до интересов России. Если Россия будет побеждена немцами, Чхеидзе не замедлит перебраться в Грузию. Я радовалась вначале, когда Керенский вошел во Временное Правительство, но чем он проявил свое присутствие? Отменю смертной казни? Самая подходящая мера во время войны!

Скорее бы приезжал Плеханов. Своей патриотической позицией и своим личным влиянием он даст другое направление, как Совету, так и Временному Правительству.

Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов ведет пораженческую пропаганду в своем органе «Известия С. Р. Д.». «Патриот», «родина» стали как бы неприличными словами.

Я хожу по митингам, выступаю под фамилией Ивановой, Петровой, Денисовой...

Вчера, возвращаясь из госпиталя, я выступала в какой-то столовой Общества Трезвости, около Язуы. Столовая битком набита, больше все солдаты. Я говорила, что Россия теперь свободна, прежде войну вело самодержавие, теперь ее ведет сам народ. Во имя будущего наших детей нам нужна победа. Сепаратный мир — это означало бы предать несчастную Сербию, Бельгию и свободную Францию и потерять нашу свободу.

— Не бойтесь слов «родина», «патриот». Вас пугает, что оба эти слова выдумали буржуи? Есть социалисты, которые являются истинными патриотами. У русских — Плеханов, у бельгийцев — Вандервельде, у французов — Жюль Гэд, Альбер Тома.

Я рассказала, какой я видела Францию во время войны. Я говорила горячо, я высказала все, что у меня наболело... Когда я кончила, мне устроили прямо овацию. Но что из этого? Они все питаются «Известиями», это их хлеб насущный...

Социалисты-патриоты все еще не возвратились в Россию, а в Петрограде уже организовалась своя полу-пораженческая группа: Дан, Гоц, Церетели. Первых двух я хорошо помню по загранице. Из-за личных расчетов и личного самолюбия они не допустят Плеханова в правительство и даже в совет.

Продолжаю выступать на собраниях. Мне аплодируют — видно согласны со мной, но все это носит примитивный и случайный характер. Я не связана официально ни с одной политической организацией, я не могу указать моим слушателям, с кем реально они должны идти и кого слушаться.

Меньшевики-полупораженцы типа Дана для меня неприемлемы. Большевики-пораженцы — враги народа, идти с ними, конечно, нельзя. В газетах я прочла, что организуется группа «Единство». Эта группа объединяет всех социалистов-марксистов,

стоящих на точке зрения обороны страны. Платформа этой группы, как нельзя более подходит к моим взглядам. В числе подписавшихся составителей этой платформы я вижу Н. И. Иорданского и В. А. Костицына. Но есть ли отделение этой организации в Москве? Нужно поскорее узнать и работать под ее флагом.

От мужа телеграмма. Он выехал уже из Парижа. Телеграмма из Христиании. Через несколько дней он будет в Петрограде. Я радуюсь. Как нужны сейчас такие люди, как он: социалист-патриот. Я выезжаю в Петроград. Встречу его там.

Московский Николаевский вокзал полон солдат, все они куда-то едут... Поезда на Петроград мы ожидали около 2-х часов. Наконец, он подошел к платформе. Тут произошло что-то неподдающееся описанию: солдаты и матросы стали прыгать на ходу поезда через окна, разбивая стекла. Крики, стоны, звон разбитого стекла, — жутко смотреть и слышать.

Вот как идет революция. Я застыла на месте.

— Торопитесь! — крикнул кто-то мне.

Я вздрогнула и поплелась в вагон. Я попала, вернее меня втиснули с толпой, в вагон второго класса. Он битком набит солдатами и матросами. Разместились не только на диванах, но на полу, под диванами, на полках для вещей. Какой-то матрос, ехавший с женщиной, приветливо сказал мне:

— Садитесь, товарищ, путь неблизкий.

Я присела и оглянулась кругом. Вся эта публика, несколько минут тому назад потерявшая образ человеческого, прочищая себе путь в вагоны, теперь мирно сидела и дружелюбно беседовала.

— Эх, Надежда, Надежда, — говорил мой сосед-матрос своей подруге, — не будь свободы, когда мы с тобой во втором классе бы поехали. А вот довелось!

Он говорил это так просто и искренно, что начини убеждать его сам Бог, он остался бы при своем мнении, что свобода это именно и есть тот путь, который он проделал, — через окно в вагон второго класса. Прыгая в окно, он был страшен, а сейчас он кроток, как ребенок. Кто он? Смесь «славянина с монголом», вспомнились мне слова Горького.

Поезд тронулся. Под шум колес и свист паровоза наш вагон принялся митинговать. Заговорили все, спорили без конца,

главная тема — приказ № 1, кадетские министры и «тайные договоры».

Я вмешалась в спор и стала доказывать, что приказ № 1 сплошная и непростительная ошибка.

— Поймите же, что без дисциплины армия превращается в шайку, во все, что угодно, только не в организованную силу.

— А вы, товарищ, тоже поймите, — обратился ко мне солдат, — где же тогда свобода, раз честь отдают?

Я старалась разъяснить солдату, что свобода не есть отсутствие вежливости, — свобода есть участие всех граждан без различия пола в политической жизни и строительстве страны, свобода — это отмена сословий, равенство перед законом и т. д.

Не знаю, понял-ли меня мой оппонент, но он деловито заметил:

— Ну, баб незачем пускать к управлению.

Спор то затихал, то вспыхивал с новой силой.

Этот гул, шум, хаос человеческих тел и мыслей наводил меня на печальные думы. В таком настроении я и приехала в Петроград.

ПЕТРОГРАД. Апрель. Знаменская площадь перед вокзалом полна народа, больше всего солдат. Все они что-то продают или меняют.

— Что это здесь так много солдат? — спросила я у матроса, который покупал папиросы.

— Солдат? Они охраняют революционный Петроград, — строго ответил он.

Я остановилась в Знаменской гостинице против вокзала. Оставила свой скромный багаж в номере, поехала искать В. А. Костицына. Он комендант Лесного Института. Занят по горло. Его буквально рвут на части. Обещал зайти ко мне при первой возможности.

Вернулась к себе в гостиницу. На площади солдаты толпились попрежнему, продавали, меняли, покупали: «стерегут революционный Петроград»...

Я не могла сидеть дома, оделась, вышла на улицу, пошла по Невскому в толпе. На улице страшная грязь, тающий снег не убирают, тротуары не чистят, не метут, на домах висят красные флаги, они уже успели слинять и выглядят грязно-розовыми. На Невском толпы народа, фланеры, фланеры без конца.

Эти тоже «стерегут революционный Петроград». Все это в общем производит впечатление чего-то несерьезного.

Наступили быстро сумерки. Невский проспект заволочся легким туманом. Я свернула на один из каналов. Прохожих было мало, я шла почти одна. Это неясное очертание мостов, каналов, домов перенесло меня в старый Петербург, Петербург «Пиковой Дамы», с клавиринами, преданиями, привидениями. Напомнило о прошлом, которое всегда мило...

Вот дворец Юсупова. Здесь был убит Распутин. Все это кажется теперь таким далеким... Отошло в область истории. Старый Петербург. Неужели я хочу возврата всего, что было? Почему мне так тоскливо? Нет, я не хочу старого, но и новое не то, чего я ожидала. Солдатская революция, грубая сила штыка, куда она приведет?

Приехал Г. В. Плеханов. Как его встречали на Финляндском вокзале! Цветы, знамена, музыка, толпа народа! Когда он вышел из вагона что-то необъяснимо радостное овладело всеми, все мы шли куда-то толпой, радостно улыбались; студенты цепью охранявшие процессию, что-то кричали, но оркестр заглушал их слова. Плеханов с цветами в руках, с изумленными глазами, бледный, взволнованный, двигался с толпой. Я шла с В. Л. Бурцевым. Мы прошли в парадную комнату на вокзале, где Плеханов произнес краткую приветственную речь.

Домой я вернулась, полная радужных надежд. Г. В. Плеханов сумеет изменить политику Совета Рабочих Депутатов!

Вот и Ленин докатился до России. 3 апреля он был уже в Петрограде. Он торопился приехать и приехал в... немецком запломбированном вагоне. Пользоваться услугами Германии во время войны с нею, — до этого мог дойти лишь один Ленин, способный на все, лишь бы осуществить свои цели: — «нужно только захотеть», вспомнилось мне, что он говорил в Финляндии. И он «захотел» и приехал сейчас в Россию при помощи немцев.

Большевики устроили ему встречу с прожекторами, барабанным боем и пр. и пр. Вообще, приезд и встреча Ленина — сплошной вызов всем. Его поселили во дворце балерины Кшесинской. «Его» люди бегают по Петрограду и ведут пропаганду. Лозунги, приемы и агенты ленинской организации — это точная копия черносотенного «Союза Русского Народа»,

рассчитанного на темные массы. Лозунг «бей жидов» сменился «бей буржуазию» и «долой министров капиталистов». В воздухе запахло погромом, а Керенский продолжает говорить о «безкровной» революции.

Зашла к нашему старому товарищу и другу Д. И. Лещенко. Мы жили с ним вместе в Финляндии на даче инженера Зябицкого в 1907 году, до нашего отъезда за-границу. Он по-прежнему ярый приверженец Ленина.

— Знаете, что сказал Ленин по приезде в Петроград?

— Что? Не знаю.

— Странный народ эти русские: я думал, что с вокзала меня повезут в тюрьму, а мне устроили такую встречу и...

— И повезли во дворец Кшесинской, — закончила я.

— Совсем не то, — запротестовал Лещенко, — это означает, что масса ему сочувствует.

Он долго еще говорил о Ленине в восторженном тоне. Я молчала. Да, и что я могла ему отвечать? Оба мы знали Ленина, оба знали его ум и преданность революционной идее, но фанатизм и личное властолюбие доводят Ленина до того, что он играет с огнем, опираясь на темные инстинкты масс, на солдат, «уставших сидеть в окопах».

Я поднялась. Лещенко любезно приглашал меня заходить. Я попрощалась и, вероятно, навсегда.

«Я думал, что меня с вокзала отправят в тюрьму», — повторяла я про себя фразу Ленина.

Эх, правители, наши новые правители, Ленин, как умный человек, сам понял, что видно не «все дозволено», и сам указал себе надлежащее место: в тюрьме, а наши правители этого не понимают и ничего не смеют сделать.

Видела Г. В. Плеханова. Он остановился у Иорданских. Встретил меня Георгий Валентинович очень любезно. Между прочим, я спросила его мнение о сотрудничестве моего мужа в «Русской Воле».

— Я ничего не вижу в этом предосудительного. Но в данный момент мы в России, у нас есть свой орган, нам уже не нужно писать в чужой прессе. Когда вы ждете мужа? Я глупо ценю его талант, он нам сейчас так нужен. Ценный он человек.

И Георгий Валентинович, прощаясь, ласково пожал мне руку.

После визита к Г. В. я не могла сидеть дома. Я носилась целый день по городу, с любовью вспоминала и повторяла каждую фразу и каждое слово, сказанное о моем муже. Как молодо выглядит Г. В. для своих лет. На вокзале он казался старше, он был усталым, измученным, а сейчас он отдохнул, выглядит молодо, глаза блестят — такие умные, пронизательные из-под нависших бровей. Он сам и весь его облик такой культурный, интеллигентный. Он основатель нашей социал-демократической партии.

Вчера приехал мой муж. Я и В. А. Костицын встречали его на вокзале. Поезд опоздал на три часа. Вечер был очень холодный. Я думала, что замерзну до прихода поезда, итти в буфет и выпить чаю, чтобы согреться, я не хотела, боялась, что разминусь с мужем. Видя, что я волнуюсь, Костицын стал мне рассказывать, что он делал в Петрограде после февральского переворота. Он рассказал, что ему и его роте поручили вскрыть могилу Распутина, составить опись всего найденного, затем отвезти гроб в лес, облить труп бензином и сжечь.

— От Распутина остался лишь пепел, и мы развеяли его во все стороны.

Вдруг засвистел вдалеке паровоз, неясно блеснули два огненных глаза.

— Это наш поезд, — сказал Костицын.

Паровоз остановился. Я бросилась к поезду. На одной из площадок увидела мужа, даже не верилось, что наконец-то мы опять вместе.

Г. А. вышел из числа сотрудников «Русской Воли». Он сотрудничает в газете «Единство», орган Г. В. Плеханова, и выбран в Центральный Комитет организации «Единство». После ухода из «Русской Воли», муж и я поехали к Леониду Андрееву. Его квартира выходила окнами на Марсово поле. Мой муж благодарил Андреева, что он дал ему возможность на страницах «Русской Воли» вести патриотическую пропаганду. Это Леонид Николаевич Андреев пригласил моего мужа сотрудничать в его газете.

— Теперь, Леонид Николаевич, у нас в России есть свой орган, где я могу свободно высказываться и потому покидаю

вашу газету. О вас я сохраню самые лучшие воспоминания, в вас я видел великого патриота и рад, что мне довелось сотрудничать с вами.

Леонид Андреев был очень грустен, жаловался на боли в сердце.

— Я полон плохих предчувствий о России, но нужно напечь все силы, чтобы народное движение пошло по правильному пути.

Андреев хороший художник, он пишет масляными красками, особенно интересен его автопортрет.

Чаем нас угощала в его рабочем кабинете его жена, красивая дама.

18 апреля (1-е мая по новому стилю) мы ездили по городу на грузовике, который был украшен флагами и плакатами. Самый большой плакат гласил: «Долой гражданскую войну!» Мы заезжали во все казармы и от имени организации «Единства» говорили речи: Алексинский, я и Чернышев. Я была в форме сестры милосердия. Везде нас слушали со вниманием и сочувствием. На Марсовом поле собрались большевики, и когда наш грузовик показался, большевики пришли в ярость от плаката «Долой гражданскую войну». Они, как злые мухи, облепили наш грузовик, сорвали знамена, плакаты, хотели проколоть шины, угрожали палками, осыпали бранью.

— Ну, чем вы нас пугаете, запугать нас нельзя и взглядов наших вы не переделаете! Мы старые партийные работники! — отвечали мы хладнокровно.

Большевики поспорили между собой, слезли с грузовика. Шофер моментально дал ход, и мы умчались. По всему городу носились автомобили, грузовики разных партий и повсюду происходили летучие митинги. Мы, оказывается, отделались на этот раз от большевиков счастливо, но с другими политическими противниками, как мы узнали потом, они расправились круче: во многих стреляли, есть раненые. 18 апреля впервые в свободной России пролилась кровь.

Совет Рабочих Депутатов на эти бандитские выступления большевиков смотрел, как на борьбу политических идей. Большевики, в благодарность за такую оценку, незамедлили избить депутацию раненых георгиевских кавалеров и сопровождавшую их сестру милосердия, когда те шли в Таврический дворец, где заседал Совет Министров Временного Правительства.

Кого винить? Совет Министров или Совет Рабочих Депутатов? Не берусь дать ответ, но ясно, что две власти существовать не могут.

Г. А. и я ходим по уличным митингам. Эти митинги не организованы, но они происходят на каждом шагу, и на них всюду кишат большевицкие ораторы и немецкие агенты. Их речи слышны повсюду. Они производят какой-то своеобразный гипноз на толпу. Вот с этими то ораторами и ходим полемизировать мы с Г. А. Часто я хожу в платке. Это спасает меня от большевицкой демагогии, которую они обычно пускают в ход, когда имеют дело с оппозицией. Кроме бродячих агитаторов, у большевиков имеется огромное количество литературы. Свою «Правду» они издают по всей России: — «Окопная Правда», «Московская Правда» и т. д. Каждый крупный город имеет свою «Правду». Все это стоит громадных денег. Откуда они у них?

С 1-го мая я работаю в качестве товарища секретаря Центрального Комитета организации «Единство». Занятия с 2-х часов дня до 7 часов вечера. Вечером собрания Центрального Комитета, митинги или доклады. Возвращаюсь домой усталая.

Большевики все энергичнее развивают свою разрушительную пропаганду. Результаты уже чувствуются: фронт дрогнул, и началось массовое дезертирство. Этому помогают много эсэры, которые обещают крестьянам немедленный раздел земли. Солдаты покидают фронт и прифронтовую полосу, спешат к «своей» земле — Псковской, Костромской, Рязанской... торопятся, чтобы их не обделили землею. Эсэры, повидимому, сами чувствуют, что сделана большая ошибка, но не хотят сознаться в этом и придумывают различные паллиативы.

Дрогнул фронт в 1.800 верст. И разве можно его удержать? Изменить в корне политику в тылу и прекратить призывы Советов и Рабочих Депутатов к немедленному «миру» без аннексий и контрибуций — вот что нужно!

Самостоятельные государства в России растут каждый день. Киевская Рада, с Винниченко во главе, объявила Украину независимым государством и ищет поддержки у немцев в то время, когда нашу армию бьют на фронте. Распропагандированные солдаты не хотят больше драться. Для того, чтобы

«пристыдить» их создается «женский батальон смерти» по инициативе и под командой М. Л. Бочкаревой, крестьянки из Сибири. В то время, как к Бочкаревой стекаются из разных углов России женщины, по Невскому проспекту почти ежедневно, по окончании работ, идут процессии фабричных работниц с плакатами: «Да здравствует Циммервальд-Кинталь». Неграмотные женщины, конечно, не знают даже, что такое Циммервальд. Идут самые серые из работниц — ткачихи. Я глубоко убеждена, что Циммервальд-Кинталь они принимают за какого-то хорошего человека и, остановив одну из них, я получила бы ответ: «Очинно хорошую жисть нам обещают Циммервальд-Кинталь».

В своей летучей литературе, на митингах, на фронте большевики обещают немедленное окончание войны, если... власть перейдет к ним. Сколько земных радостей сулят они. Совсем как ведьма из сказки Андерсена. И только наш бедный, темный и невежественный народ может верить этим лживым посулам.

Совет Рабочих Депутатов на всю эту разлагающую работу наглых обманщиков дает лишь один ответ: «Это идейная борьба». В сущности, Дан, Мартов, Чхеидзе, Церетели сейчас, пожалуй, вреднее подлинных пораженцев-ленинцев. Они сделают все для того, чтобы не впустить струю здорового воздуха в нездоровую атмосферу Совета. Они не допустили в Совет Рабочих Депутатов Плеханова, основателя российской социал-демократической партии, того Плеханова, по книжкам которого они учились марксизму, они не пустили Алексинского, который пришел в Совет Рабочих Депутатов по единогласному выбору рабочих и служащих Северо-Западной железной дороги. Полупораженцы боятся влияния Плеханова и Алексинского. И в то же время они широко открывают большевикам ворота к власти. Ведь ни для кого не новость, что большевики готовят в первых числах июля государственный переворот.

Во Временном Правительстве сильное влияние левых элементов. Результат налицо: сначала пришлось уйти военному министру А. И. Гучкову, его заменил Керенский. Затем покидает пост министра иностранных дел П. Н. Милуков, за то, что посмел высказать пожелание победы и свободного выхода России из Черного моря. Уходит князь Львов с поста председателя Совета Министров, его заменяет тот же Керенский. Совсем как Фигаро: «Фигаро там, Фигаро здесь». Появляется на сцену Виктор Чернов. Зачем он? Ведь в Женеве во время войны он

издавал пораженческую литературу на деньги темного происхождения.

В редакции газеты «Единство» я часто беседую с поручиком Волком — военным летчиком. Его не очень любят в офицерской среде. У него, как у всякого энергичного, деятельного человека, много недоброжелателей. Он один из инициаторов «Лиги Личного Примера». Я люблю с ним разговаривать. Он не киснет от неудач, а наоборот, загорается еще большей энергией и бодростью. Он так же, как и я, возмущен заигрыванием Советов с большевиками.

— Надо быть дураками, чтобы не использовать положение, — говорит он про большевиков, — а так как большевики во сто крат умнее наших правителей, то они их ловко обойдут, а когда те очнутся, будет поздно. Я презираю этот Совет «ребячих» депутатов за их пошлую демагогию. Россия забыта, патриоты унижены, осмеяны. Идет ставка на левизну. Кто левее? И доскакались до пропасти...

Муж уехал в Севастополь. Там что-то совсем кошмарное: большевики призывают к избиению офицерства, интеллигенции.

Приехал в Петроград бельгийский социалист и министр Эмиль Вандервельде. Здесь он выступал на многих рабочих митингах и скоро уедет в Москву, где я должна ему организовать митинг. Я подробно написала в Москву, прося взять самую большую залу, устроить митинг под флагом «Единства». Переводчиком Вандервельде будет, вероятно, Иорданский.

Митинг Вандервельде сошел прекрасно. Цирк Никитина был набит битком. Слушали с большим волнением. Вандервельде призывал русских до конца сражаться против империалистической Германии, которая, в случае победы, поработит экономически не только Бельгию и Францию, но и Россию.

Июнь. Снова живем в напряженном состоянии. Ждем каждый день событий, еще более необыкновенных. Братание с неприятелем на фронте, двойственная политика в тылу, безконечные разговоры о грядущем восстании большевиков создали нервную атмосферу. Вчера на собрании членов Центрального Комитета «Единства» Алексинский в своей речи предло-

жил начать определенную борьбу против Петроградского Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов за его явно пораженческую пропаганду и работу на Вильгельма II. Такая определенная постановка вопроса смутила присутствующих. И его голос остался голосом вопиющего в пустыне. Члены Комитета «Единство» предполагают, что Исполнительному Комитету Сов. Раб. Деп. и без всяких угроз придется изменить тактику.

Мне не верится, что этот момент может настать. Когда говорил мой муж, передо мной был тот решительный Алексинский, для которого не существует полумер, недомолвок и этих Иудиных «постольку-поскольку», губящих свободу и родину.

Июль 1917 г. Мы пережили ужасные дни. Вспоминаю о них, как о кошмаре. Два дня большевики держали всех в страхе, что перевес останется на их стороне. 3-е и 4-е июля не скоро позабудутся петроградцами. О предстоящем восстании большевиков говорили много, но готовились к нему лишь большевики. И когда оно пришло, все растерялись и правители и граждане. Толпы народа высыпали на улицу, по улицам на грузовиках мчались вооруженные большевики и стреляли без предупреждения в толпу. Я шла с толпою по Литейному проспекту. Вдруг раздаются один за другим выстрелы из винтовок. На тротуар падают бедно одетая женщина, старик, мальчик... Все в страхе разбегаются, затем, опомнившись, начинают сыпать проклятия по адресу убийц.

Возмущение толпы так велико, что я, бывавшая на многих демонстрациях при царизме, не запомню такого возмущения и возбуждения.

С Литейного я пошла на Владимирский в «Единство». Муж был там.

— Меня вызывают генерал Половцев и министр юстиции Переверзев, — сказал он. — Еду к ним сейчас. Когда вернусь, не знаю. Буду звонить тебе по телефону.

До 12 часов ночи я бродила по улице. На каждом углу было по матросу-агитатору, которые объясняли нам, глупым гражданам, почему они сегодня были так зверски жестоки с нами...

— Ведь с чердаков контр-революционеры бомбы бросали! — с возмущением воскликнул матрос.

— Ну, что, товарищ, брешь, — возражает кто-то. —

Я сам был на Литейном, когда вы первые стрелять начали...

Спор разгорается, но вдруг подъезжает патрульный грузовик, полный вооруженных большевических солдат и «увозят контр-революционера», указанного матросом-агитатором.

Около двух часов ночи меня вызвали по телефону и сообщили, что мой муж ночевать не вернется. Я не спала всю ночь. Следующий день прошел в беспорядочной перестрелке на улице, с той же бешеной скачкой большевиков на автомобилях по городу. Появились бронированные автомобили. Обыватели в страхе спрашивали:

— Где стреляют?

Но никто не мог дать точного ответа. Вернее, стреляли везде. Снова наступил вечер, а затем бесконечная ночь. Муж не вернулся домой. Утром я пошла в редакцию на Владимирский проспект. Меня поразила тишина на улицах. Неподалеку от Невского, на Знаменской, я увидела на стенах афиши. Перед ними толпы народа. Читают молча и так же молча уходят, чем то пораженные. Я подошла к афише и стала читать:

«Г. А. Алексинский, член II Государственной Думы, депутат от рабочих города Петрограда, и Панкратов, социалист-революционер, шлиссельбуржец, утверждают, что Ленин получил от немецкого генерального штаба несколько миллионов рублей для организации социалистического переворота в России в целях дезорганизации фронта и заключения сепаратного мира с Германией».

Вот приблизительный текст афиши.

Я быстро пошла в редакцию «Единства», и повсюду по дороге, где висели афиши, я наталкивалась на это жуткое настроение толпы. В редакции я узнала, что большевическое восстание подавлено. Дворец Кшесинской отнят у большевиков. С печатанием воззвания вышла целая история. Оно было разослано Алексинским по всем редакциям и было уже набрано, как пришел приказ от арестованных большевиками в Таврическом дворце и освобожденных нашими членами Исполнительного Комитета не печатать сообщение, где Ленин объявляется агентом Вильгельма. Министры Терещенко и Коновалов также помешали опубликованию. В редакцию «Единства» явились Чхеидзе и Церетели и потребовали не печатать обвинения против Ленина, так как «источники не проверены». Но нашлась маленькая газета «Живое Слово», которая одна «осмелилась» послушаться, и лишь ей мы обязаны широкому оглашению дела.

— Этот журнал только дразнит всех и через него мы потеряем тех немногих друзей, которых имеем, — закончила свои аргументы Р. М.

— Но ведь Григорий Алексеевич самостоятельно издает его. Почему же вы соединяете его выступления с редакцией «Единства»?

— Да потому, что Г. А. член редакции и раз редакция не выступает против, значит, она солидарна. Вот почему хотелось бы, чтобы Г. А. добровольно прекратил свой журнал. Вы поймите, что такие выступления сильно вредят Георгию Валентиновичу. Ему обещают возможность войти в правительство. Он сможет тогда влиять на ход событий. Резкая позиция вашего мужа может помешать этому...

Я задумалась... Представилась вся жизнь Г. В. Плеханова: вечный изгнанник, всю жизнь провел вдали от родины!.. Я ясно представила, как он, узнав о перевороте, сейчас же сел на пароход и поплыл в Россию по той дороге, где почти накануне погиб другой пароход, взорванный немецкой миной... Как तो ропился, чтобы скорее приехать в Россию, которую не видел столько лет и которую так любил. И этому изгнаннику не нашлось места среди правителей России!

— Хорошо, Розалия Марковна, я сделаю всё, чтобы ваша просьба была исполнена.

В редакции «Единства» последние дни ходили слухи, что Георгий Валентинович войдет в министерство в качестве министра труда.

Наконец-то Керенский додумался. Бездарный Скобелев уступит место Плеханову. Я передала мой разговор с Р. М. Плехановой моему мужу. Добронравов и слышать не хотел о прекращении журнала.

— Бросать начатую борьбу! В такой момент, когда все шансы на нашей стороне! Журнал имеет редкий успех. В нем есть потребность, он отвечает настроению масс петроградцев и провинции.

Я очень хорошо понимала Л. М. Добронравова, но передо мной стоял Г. В. Плеханов: Алексинский может помешать его политической работе.

Ал-ский молча выслушал все доводы Добронравова, протянул ему руку и сказал:

— Милый Леонид Михайлович, я понимаю вас и согласен

с вами, что останавливаться на полпути после брошенных мною Ленину обвинений нельзя... Но поймите меня, я не хочу мешать Плеханову входить в министерство. Я прекращу издание журнала и не выпущу четвертый номер. Я хочу, чтобы это дало шанс Георгию Валентиновичу на участие во власти!

Он обнял Леонида Михайловича и закончил:

— Мы с вами еще будем вместе работать! Начало сделано!

Опять кошмарные дни. Ал-ский разъезжает все время по митингам перед большевицкими аудиториями. Каждый раз я жду его возвращения с трепетом. Боюсь, что его убьют.

На одном из последних собраний кто-то из большевиков ему крикнул:

— А в Кронштадт-то небось вы не едете!

В Кронштадте большевики полные хозяева.

Ал-ский сейчас же обратился к кричавшему:

— Когда вы можете организовать митинг? Я приеду.

Сопровождать Ал-ского в Кронштадт вызвалось много охотников, — в том числе и три члена нашей редакции «Единства», а также несколько социал-демократов и эс-эров оборонческого лагеря.

В назначенный час мы были на пристани. Но там никого не оказалось из тех, кто вызвался ехать с Ал-ским в Кронштадт. Входим на пароход. Никого!

— Нет, ты не должен ехать один. В крайнем случае я поеду с тобой.

— Ты меня свяжешь. Я поеду один.

Мною овладело такое отчаяние, что я не знала, что предпринять. Где же все те, которые уверяли, что поедут? Отчего они не пришли?

— Познакомься, — сказал мне муж.

Я подняла голову. Рядом с мужем стояли два военных: георгиевский кавалер и казачий офицер. Я поздоровалась. Георгиевский кавалер увешан орденами, а у казачьего офицера рука в перевязке — раненый...

— У георгиевского кавалера 16 ран, — шепнул мне муж.

Раздался гудок.

— Сходи, мы скоро трогаемся.

— С кем же ты едешь?

— Вот с ними. Вернусь к четырем часам.

Муж поцеловал мою руку. Я сошла на пристань. Пароход отчалил. С парохода Ал-ский и его два спутника приветливо махали мне рукой.

У одного 16 ран, у другого рука еще не зажила. Какие же это защитники для моего мужа. Больные, искалеченные едут, и их только двое, а там здоровые, грубые и их тысячи.

Домой идти мне не хотелось, в редакцию было еще рано. Я медленно шла по набережной, перешла мост, шла, сама не зная куда. Летний сад. Я села на скамейку. Задумалась. Все мое обоснованное мирозерцание вдруг как-то расклеилось, точно расплзлось. Все мне показалось распавшимся на клочки, не имеющие между собою связи. Мне почему-то представился Пуришкевич, его заботы на войне о раненых, Ленин, едущий в немецком вагоне и получающий от немецких провожатых хорошее продовольствие; наши военнопленные, питающиеся в немецких лагерях отбросами... Мой муж, едущий в осиное гнездо в обществе двух инвалидов, и те, пышущие здоровьем товарищи, оставшиеся неведомо почему вдали от окопов и опасностей... Что же это такое? Где же все наши доктрины, этика, заветы?!

— Вам плохо? — с участием наклонилась надо мной какая-то дама.

Я вскочила со скамьи.

— Нет! Благодарю вас!

Я пошла в редакцию. Все были в сборе.

— Почему вы не поехали в Кронштадт с мужем?

— Я проспал.

Его, видите-ли, жена не разбудила.

— А меня не разбудила прислуга, — отвечает другой.

И все в том же роде. Вскоре приехал Г. В. Плеханов.

— Когда вернется Ал-ский? — спросил он меня.

— В 4 часа.

Прошло четыре с минутами, — его не было. Мне представились севастьяпольские зверства... Я уже видела мужа раненым, убитым... Я сидела в бюро секретариата и писала протоколы заседаний Ц. К., в них последняя речь Ал-ского.

Дверь в бюро часто отворялась и чей-нибудь голос спрашивал:

— Товарищ Алексинский вернулся?

Я никому не отвечала. Зачем? Они сами видят, что его нет. В седьмом часу в редакцию влетел, как вихрь, Ал-ский.

Г. В. Плеханов обнял его.

— Ну, рассказывайте скорее!

Муж рассказал, что ему удалось провести два митинга. Народу было масса. Самый многочисленный был на площади. Слушать слушали. Но когда раненый георгиевский кавалер говорил, большевики стали издеваться, заявлять, что у него нет никаких ран и потребовали даже, чтобы он показал свои раны.

— Я прикрикнул на них, и они стихли. По окончании митинга некоторые приглашали меня опять приехать и не забывать их.

(Продолжение следует)

Т. Алексинская

П 34 2
900

П34
900
Кн. 91
(1968)

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать седьмой год издания

Кн. 91

НЬЮ ИОРК

1968

ГОС ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Ленинград
1/69.2

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>В. Шаламов</i> — Колымские рассказы	5
<i>Н. Моршен</i> — Новые стихи	24
<i>Неизвестные стихи И. Бунина</i>	28
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	32
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	34
<i>И. Елагин</i> — Стихи	57
<i>Т. Петровская</i> — «Перепись литературного населения»	63
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	75
<i>А. Дынник</i> — Женские портреты у молодого Куприна	78
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	89
<i>Н. Туроверов</i> — Стихи	90
<i>Ю. Иваск</i> — Поэты двадцатого века	91
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	103
<i>В. Гавронский</i> — Толстой о Шекспире	105
<i>Г. Евангулов</i> — Стихи	113
<i>С. Сатина</i> — С. В. Рахманинов	115
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	129
<i>Ю. Кротков</i> — Самоубийства советских писателей	131

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Е. Мильтон</i> — Воспоминания о поэте Н. М. Минском	149
<i>А. Кошко</i> — О деле Бейлиса	162
<i>Т. Алексинская</i> — 1917-й год	184
<i>К. Кромиади</i> — Последний рейд	208

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Д. Анин</i> — Юбилей «величайшей мистификации»	230
<i>Ю. Мишалов</i> — Мировая революция и коммунизм	245
<i>С. Левицкий</i> — Классические доказательства бытия Божия и современная философия	265
<i>Н. Первушин</i> — Легенда, фреска, икона	281

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>А. Небольсин</i> — Н. Ульянов. Диптих. <i>С. Крыжицкий</i> — А. Бабореко. <i>И. А. Бунин</i> . Материалы для биографии. <i>Г. Ермолаев</i> — В. Wolfe. The Bridge and the Abyss. <i>Е. Каннак</i> — А. Безансон. Закланный царевич. <i>Е. Каннак</i> — М. Булгаков. Собачье сердце. <i>Ю. Иваск</i> — Карлик фаворита. История жизни <i>И. А. Якубовского</i> . Книги для отзыва	288
---	-----

1917-й ГОД*

ЗАПИСИ

У меня немного больше свободного времени. Газета «Без лишнего слов» прекратила свое существование, и мне не надо больше бывать по утрам в редакции, вернее в квартире Л. М. Добронравова, который любезно предоставил для редакции одну комнату в своей изящной квартире. Какая превосходная статья в последнем номере «Без Лишних Слов»: «Привет вам, Чудо-Богатыри!», с каким сарказмом, с какою болью в сердце он говорит о бегстве солдат с фронта. Какие сильные, но простые слова нашел он!

Большевики не унимаются. То там, то здесь устраивают местные восстания. На языке Советов это «борьба политических идей».

Вчера за Ал-ским приехали офицеры с форта Красная Горка, просили его выступить перед гарнизоном. Муж еле держался на ногах от усталости, но поехал. На этот раз с ним поехала и я. Я измучилась все эти дни ждать его возвращения. В Красной Горке на огромной площадке, свободной от построек, была выстроена трибуна. Первым говорил Ал-ский. Несмотря на усталость, на бессонные ночи, он говорил с подъемом, нервно, горячо. Солдаты слушали молча, угрюмо. При виде этого моря серых шинелей, мне опять вспомнилась моя работа на фронте, в поезде, в госпитале... Вспомнились наши душевные беседы с солдатами, их незлобное отношение к пленным и трогательно-детская заботливость к раненому «врагу»...

Где все это? Нет, это не должно исчезнуть, такие чувства не могли пропасть, если они существовали! Их отравили... они больны — эти солдаты.

Муж уехал в Москву на Государственное Совещание. Я одна.

Вчера я выступила на Женском Собрании. Публики было много, все больше простые бабы в платочках. Они мне усиленно хлопали во время и по окончании моей речи. Говорили еще две-три ораторши. Затем приехала миссис Панкхэрт-мать, знаменитая английская суфражистка. Ее речь переводила артистка Яворская. Сама Яворская явилась резким диссонансом в этом скромном по одежде собрании. Изящная, в шляпе из белых лилий, она будто декламировала из Ростана «Орленка», и, конечно, ее речь не тронула сердца скромных слушательниц в платочках, которым непонятен и чужд этот «заграничный» пафос.

МОСКВА. Я опять в Москве. Муж вызвал меня телеграммой. 12 августа в Москве — Государственное Совещание. Соберутся представители со всей России. Ждут от него многого. Ждут объединения, — истинного блока патриотов, той «коалиции», о которой без отдыха говорит Г. В. Плеханов. Плеханову будет дано слово. Слово! Но не практическое участие в правительственной работе. Закрытие газеты «Без Лишних Слов» не помогло Плеханову — он не был приглашен в министерство в качестве министра труда. Кропоткин, знаменитый анархист Петр Кропоткин, тоже получил «слово».

На улицах оживление, всюду конные разъезды, опасаются демонстрации большевиков... Но может быть, Государственное Совещание положит конец этому всему!

Я проводила мужа до дверей Большого театра, где должно было происходить совещание, и пошла бродить по улицам. Неподалеку от Охотного ряда большевицкий оратор убеждал, уверял, клялся, что генералы продадут революцию.

— А не большевики? — спросила я громко.

— Раздавить бы тебя, контр-революционерку! — кинулся на меня здоровый детина.

— Посмей только! — угрожающе сказала я, но все-таки пошла поскорее дальше.

«Раздавить бы тебя!» Значит, для всех несогласных, для всех инакомыслящих только одно и готовится: «раздавить»? В этих словах звучит не простая дурацкая угроза, а целая система действий. Что же может культурный европеец Плеханов противопоставить этой грубой дикости?

Каледин! В речи донского атамана на Государственном

* См. кн. 90 «Н. Ж.».

Совещании прозвучало напоминание, что Россия больна, тяжело больна.

Обработанный большевиками какой-то казачий делегат затянул обычную ленинскую арию, но Каледин, первый выборный атаман войска Донского, из ложи громко напомнил ему о немецких марках. Заседание было прервано. Керенский потребовал, чтоб сказавший слова о германских марках назвал себя. Каледин гордо исполнил это требование. Но разве он не имел права еще раз напомнить, что русская серая масса отравлена пропагандой субсидируемой немцами, и что нужно реально бороться с теми, кто продал родину врагу. Большевики продали ее, но все почему-то делают вид, что им «ничего неизвестно». Точно эта тема «неприлична» в «благородном» обществе. Спасибо атаману Каледину! Ясно представляю себе его благородную фигуру у барьера ложи и его презрительный взгляд, устремленный на главу правительства.

Передают шопотом о закрытом «военном» заседании Совещания, на котором присутствовал Корнилов, приехавший с фронта. Корнилов собрался сделать подробный доклад, но получил от Керенского записку быть осторожным в изложении, ибо он «не надеется» на одного из присутствующих. Говорят, что Керенский имел в виду Чернова. После такого предостережения из заседания ничего не вышло. Вопрос о фронте остался невыясненным.

Это было за кулисами, а на сцене появлялись Плеханов и Кропоткин, говорили речи, полные правды и мудрых советов, речи, в которых было столько горькой истины и здравого смысла, что читая их, становилось непонятным, почему эти люди не у дел? Выступали члены Государственной Думы. Ал-ский, как всегда, говорил без недомолвок — ясно и определенно. Его речь была блестяща.

Из Совещания ничего не вышло. Керенский пожелал остаться главной фигурой. На прощанье произнес бредовую речь, полную фраз, лишенных смысла.

А дальше? Дальше? Сначала все ушли из зрительного зала Большого театра, затем все разъехались по местам, не унося с собой никакого определенного решения, никакого определенного указания о том, что же делать дальше. После Совещания обстановка станет лишь более благоприятной для

большевиков. Но зачем же на Совещании выступал Церетели, протягивая руку «буржую» Бубликову? Мы устали от этих жестов.

ПЕТРОГРАД. Керенский продолжает «представление». Вместо того, чтобы энергичными мерами парализовать деятельность большевиков, он усердно занят собою. Он задумал «уход а ля Толстой», но, конечно, вскоре вернулся в Петроград с неограниченной властью. Но на что она ему? Все равно уже он ничего не сумеет с нею сделать.

Я больше не секретарствую в «Единстве». Много времени уходит на добывание продовольствия. Хлеб достаем с трудом. Большевики направо и налево обещают населению хлеб и мир. Но где они достанут этот хлеб? Народ, повидимому, не желает задавать себе этот вопрос... Обещают. Значит, дадут! Святая простота! Народ пойдет за всяким, кто его накормит. Но не всякий сумеет лгать так бесстыдно, как лгут большевики!..

Корнилов идет с войсками на Петроград. Он «выступил» 27-го августа. Керенский, Савинков и их друзья изменили Корнилову в решительный час... Керенский забил тревогу: «измена революции», Савинков резюмировал это словами: «Генерал Лавр Корнилов — изменник».

Большевики решили, что настал подходящий момент для легализации их положения, подхватили лозунг: «революция в опасности». Они снова стали носиться по фабрикам, по улицам.

К великому стыду — горячее сердце и холодная голова Г. В. Плеханова на этот раз изменили ему. Поддавшись общему хаосу, Г. В. Плеханов написал ироническую статью в нашей ежедневной газете «Единство» про генерала Лавра Корнилова, этого «известного генерала-бегуна», «Лавра, не пожавшего лавров»!..

«Бегун»! Да, этот доблестный генерал бежал из германского плена, найдя дорогу в Россию по звездам.

Правда, Г. В. Плеханов быстро спохватился и понял, что он ошибся, но более чем неосторожный шаг был уже сделан.

В Петрограде нас очень немного среди партийной публики, — мой муж, я, М. А. Малых, Добронравов, да еще В. Л. Бурцев, которые стоят открыто за поддержку Корнилова. Как странно наблюдать сейчас товарищей, публику и просто людей: как боятся все они открыто высказать симпатии генералу

Корнилову. Боясь прослыть за контрреволюционеров, а в то же время видишь, как всей душой они хотели бы, чтобы Корнилов без «их» поддержки победоносно вошел в Петроград, сверг малодушного Керенского и расправился бы с большевиками. Но без «них»! Трусливое лицемерие! Партийные люди боятся обвинений в «поправении». У власти сейчас, в сущности, эс-эры. Московская городская дума эс-эровская. Петроградская тоже. Правительство эс-эровское. И что же? По-прежнему полное бездействие, люди занимают свои министерские места, а «штаны на них, как на покойниках»...

Корнилов разбит. Его генералы арестованы. Иорданский, военный комиссар, пишет грозные приказы об аресте, а Костицын, кроткий Владимир Александрович, этот талантливый математик, приводит их в исполнение. Владимир Александрович, зачем вы это делаете?! Говорят, что когда арестованных генералов вели из ставки, солдаты их били, издевались... Куда дальше идти? Как вести войну против немцев? Ведь мы, русские, все еще ведем войну, наша страна все еще в состоянии войны с Германией. А наших генералов, военных вождей, избивают свои же солдаты. Их обвиняют в «контрреволюции» лишь за то, что они хотели убрать с политической арены людей, работающих на немецкие деньги.

С падением Корнилова смело можно сказать, что боевая жизнь фронта кончилась. Конец войны, но какой конец?!

«Контрреволюция» с генералом Корниловым во главе раздавлена. Большевики обнаглели. Выползли из всех нор. Читая лекции, доклады, организуют митинги. Мадам Колонтай назначила ряд лекций. Ни для кого не секрет, что большевики готовят снова повторение неудавшегося июльского переворота. Ленин, говорят, живет в Кронштадте, на броненосце «Аврора». Вообще, все по старому, будто и не было обвинений против них в получении германских денег! Почтенное правительство наше занято подготовкою пред-парламента. Но это неоткрывшееся еще учреждение уже не пользуется в массах популярностью. Его называют не иначе, как «бред-парламент». Неудовлетворение во всех кругах полное. Надо «что-то» сделать, вернее делать после подавления «мятежа Корнилова», но что? — правительство, повидимому, само не знает. Но массы знают, что нужно тянуть либо вправо, либо влево,

иначе и «подавление» им непонятно. Нет сомнения, что массы пойдут влево, ибо «умеренное» правительство, неспособное к борьбе, в такой важный исторический момент не может пользоваться популярностью у масс. В жизни побеждает: смелость! еще смелость! и всегда смелость! Эти слова Дантона Ленин любил повторять еще за много лет до русской революции. Ленин понимает, что момент для применения этих слов настал: растерявшееся правительство и неудовлетворенные массы. Троцкий откровенно призывает к восстанию: «подлинная власть демократии».

По поручению Центрального Комитета «Единства» муж уехал в Вологду проводить избирательную кампанию в Учредительное Собрание, которое откроется в январе 1918 года. Я одна с сыном в Петрограде. Погода резко изменилась. Холод. Неуютно в квартире — дров не могу достать. Топлю пока газетами, которых у нас, как всегда в избытке. Дров обещали, но пока еще не получила.

Вчера был ясный осенний день. Я люблю такие дни. Сын был в детском саду, я пошла побродить. Петроград постепенно становится грустным, оставленным городом... Забитые досками магазины, испорченные мостовые. На нашей улице закрылись еще две лавки. Товаров нет. На Невском постепенно закрываются одна за другой кондитерские, а взамен открываются лавки, торгующие резиновыми подошвами. К чему такое множество подошв, когда нет обуви и нечего есть? Прошла мимо Елисеева. И у этого короля гастрономии весьма бедный выбор товаров. Больше всего овощей. Но есть и варенье, — это уж роскошь. На Невском мне сунули в руку большевицкую прокламацию. Ого! Какой рай земной она сулит! И есть бедные люди, которые верят этой бумажке. Кто эти люди? Голодные? Озлобленные? Я не могла не зайти в милый Летний Сад. Желтые листья, белые статуи, прямые аллеи, далекие мысли. Вспомнились стихи Поля Верлена:

”Dans le vieux parc solitaire et glacé
Deux spectres ont évoqué le passé,
— Qu’il était bleu, le ciel et grand l’espoir
— L’espoir a fini, vaincu, vers le ciel noir.

Пред-парламент открыт, в нем уже говорят, говорят без конца. Я была вчера там. При мне говорил Авксентьев. Гово-

рил длинно, скучно. Слушая его, я подумала: а что если бы сейчас ворвались банды большевиков с криком, что правительство свергнуто? Авксентьев лениво бы перевел глаза на публику и наверное сказал бы:

— Дайте договорить!

Но Авксентьев хоть говорил умно и спокойно, а другие не могут обойтись без словесной истерии. При заболевании истерией, во время припадков врачи часто рекомендуют крикнуть на больного. Больной очнется и овладеет собою. Хоть бы нашелся такой человек, который крикнул бы: «Проснитесь! Большевики готовы захватить власть! А вы все о чем то бредите!» Увы, такого человека нет. Будущие пленники большевиков, открывая пред-парламент, наивно объясняют нам, что с помощью этого жалкого учреждения, они «хотят восстановить закон, порядок и довести страну до Учредительного Собрания».

Неподалеку от нашего дома не то толкучка, не то импровизированный базар. Народ толпится там целый день, продают, покупают, меняют, спорят. Собираются группами человек по 15-20. По мере спора группа вырастает до 50-100 человек.

Когда мы туда пришли с Варей, спор был в разгаре. Какой-то худощавый мужчина нервно кричал:

— Ну, пусть власть возьмут большевики, хуже не будет! Попробуем! Говорю, не будет хуже! А то теперь — канитель одна!

— Да и то правда, — подхватила какая-то женщина, — хуже не будет! Говорили нам: генералы мешают. Убрали генералов, а все лучше не стало!

— Буржуи мешают! Вот Ленин им покажет, — кричал какой-то субъект. — Да здравствует пролетарская революция! Да здравствует диктатура пролетариата, советская республика!

— Да здравствует советская республика! — закричали все кругом.

В первый раз в жизни я не вмешалась в спор и не высказала своего мнения. Я была ошеломлена, подавлена. Теперь я ясно вижу, что правительство Керенского уже само подготовило свое падение. В умах масс переворот почти совершился. Не хватает только его внешнего выражения — переворота с

оружием в руках. Большевики, пользуясь недовольством масс, приобрели уже исключительное влияние.

Правительство закрыло газету Бурцева, где тот защищал патриота Корнилова и требовал расследования дела о подкупе большевиков немецким генеральным штабом. Следствие по этому делу идет черепашим шагом.

Варя вернула меня к действительности.

— Пора домой. Вот вам, барыня! Слышали, как в народе говорят? Ну, кто от своего счастья будет отказываться? Большевики обещают правителей из трудового народа поставить!

Октябрь 25, 1917 год. И это совершилось! Свершилось в один из октябрьских дней. Утро было туманное, холодное. Население Петрограда не спало в течение многих ночей, ожидая исхода сражения. Рано утром на улицах уже толпился народ, читая на стенах воззвания большевиков, где они сообщали, что Керенский бежал, Временное Правительство свергнуто, новое правительство составлено большевиками.

Народ не верил. Читал молча, не говоря ни слова, расходились по домам.

Как просто все это произошло. Крейсер «Аврора» навел пушки на Зимний дворец. В два часа ночи большевики заняли мосты, телеграф, электрические станции, вокзалы.

А Временное Правительство? Оно «совещалось», вырабатывая меры, применять которые было поздно. А народ?.. Народ безмолвствует... А революционная интеллигенция? Эсеры, меньшевики? Они избирают «Комитет Общественной Безопасности». Вот все, что я узнала, выйдя на улицу.

Я вернулась домой точно с похорон. Все кончено. Большевики у власти. В таком настроении меня застал знакомый рабочий Путиловского завода, — плехановец.

— Все погибло! — встретила я его.

— Не падайте духом! Этого и нужно было ожидать. Вы все забываете, что мы живем в России, и что мы русские. Мы люди темные. Нам не убедительны чужие доводы, нам самим нужно все на себе испытать. Мы как дети, будем тянуться к лампе, пока не обожжемся. Обожжемся на большевизме и выздоровеем!

— А когда это будет?

— Когда выздоровеем? Когда народ сознает свои ошиб-

ки, а пока мы с вами будем ему указывать на эти ошибки.

— Вот наивность! Да кто вам позволит это делать? Разве для этого большевики отняли власть у безвольного правительств? Чтобы Ленин допустил оппозицию? Разве вы забыли, как он удалял из организации людей инакомыслящих?

Мы долго беседовали на эту тему. Рабочий ушел. Я чувствовала, что не могу сидеть одна. Я опять вышла на улицу. На Суворовском проспекте села в трамвай и поехала по Невскому. Трамвай был полон. Посреди стоял матрос, огромного роста, красивый брюнет, размахивал рукой и рассказывал громко, как они матросы, атаковали юнкеров, которые за баррикадировались в своем училище.

— Уж и досталось этим буржуям! — рассказывал матрос с энтузиазмом.

В своем экстазе он не замечал, что слушатели не разделяли его восторгов, а сидели, поникнув головой. Он убежден, что он истинный революционер, потому что уничтожил юнкеров, интеллигентную молодежь, которая пыталась защитить свободу страны от большевиков и честь ее от позорного мира с Вильгельмом. Я не стерпела. Поднялась с места, подошла вплотную к матросу и сказала:

— Чем вы гордитесь? Чем? Что расстреляли молодежь, наше будущее? Кто боролся с самодержавным строем, чтоб мы имели ту свободу, которую получили в феврале и потеряли теперь в октябре? Кто? Наша интеллигенция. А теперь вы ее убиваете. Сеете в умах темных людей злобу, называя русскую интеллигенцию буржуазией. Да не одну интеллигенцию вы преследуете, — несогласных с вами социалистов вы тоже объявляете контрреволюционерами. Стыдно вам!

Матрос не ожидал отпора. Сначала растерялся, а потом пренебрежительно ответил:

— У вас своя свобода, а у нас, пролетариев, своя!

— Но всякой свободе чуждо насилие!

— Ну, таких как вы, — возразил матрос, — убивать не жаль!

Трамвай остановился; я почувствовала, что меня взяли под руки и повели. Какой-то господин и дама вывели меня из трамвая и шепнули:

— Ведь он убьет вас ни за что!

Трамвай тронулся, и я ничего не успела сказать моим «спасителям». Я пошла по Невскому. На каждом шагу говорили большевицкие ораторы. То и дело раздавались крики:

— Милиционер! Арестуй этого буржуя!

— Милиционер! Держи этого контр-революционера!

Переворот совершился.

Новый режим уже перед нами.

Швейцар нашего дома любезно осведомился у меня, когда приедет «барин».

— Жду каждый день, — ответила я.

В Вологду же послала условную телеграмму, прося мужа не приезжать в Петроград. Теперь большевики будут мстить моему мужу за его разоблачения о их связях с немцами. Ведь мой муж первый за своей подписью сделал эти разоблачения «достоинством гласности». Бурцев, взявший на себя дальнейшее расследование дела, уже сидит в Петропавловской крепости. Министры Временного Правительства арестованы в первый же день переворота. В редакции «Едиства» появляются какие-то типы и ежедневно спрашивают, приехал ли Алексинский? Им я неизменно отвечаю: «Жду со дня на день».

Г. В. Плеханов живет в Царском Селе под Петроградом. К нему ворвались красноармейцы, произвели обыск. Через два часа ворвались снова, требуя выдачи оружия.

— Какого? — удивленно спросил Плеханов.

— Да обыкновенного!

— Вот мое оружие, — указывая на свои сочинения, ответил Плеханов.

После этого нашествия Г. В. Плеханов, плохо себя чувствующий и раньше, слег в постель, и у него открылось кровохарканье.

В Петрограде у нас теперь две городских Думы. Одна последнего созыва, другая большевицкая. Министерства пусты. Служащие отказались работать с большевиками. Но Ленин, верный своим традициям, подбирает верных ему людей. Эти «свои» люди входят во все учреждения и являются их руководителями.

Во что превращается Петроград. Днем на всех улицах идет продажа награбленных во время переворота вещей.

Вчера я шла с сыном по Невскому. Солдат продавал за 100

рублей одну полу занавески-драпри, темно лилового шелка, затканного золотом.

— Барыня, купи! В царском покое висела. Дешево отдам. Бери!

Но я не брала.

Другой солдат предлагал мне великолепные канделябры.

— Мама, — сказал мне сын, — купи! Все равно, кто-нибудь другой купит!

Но я быстро ушла от этих продавцов.

Вечером в городе — драки, крики, бесконечное количество пьяных. Солдаты взламывают винные склады и погребов лучших магазинов. Вино и спирт текут рекой. То там, то здесь вспыхивают пожары. Тоска от безвыходного положения, от этой дикой анархии. Все куда-то попрыгались. Дома редко кто ночует. Боятся ареста. Не смерть страшна, страшно это, что-то звериное, пробужденное большевиками.

Все жильцы нашего дома по очереди дежурят у ворот по три часа днем и по два ночью. Это постановление всех городских домовых комитетов. Пьянство, грабеж, самочинные обыски красногвардейцев не прекращаются. Я забыла уже, когда я в последний раз спала спокойно. Ложусь, не раздеваясь, чаще засыпаю в кресле. Волнуюсь не за себя, а за сына. Он впечатлительный мальчик, я держу его в полном неведении всех событий. До четырех часов он в детском саду, который находится в нашем же доме, на нашей лестнице этажем ниже. А после четырех часов с ним я или Варя.

Сейчас, когда я это пишу, горит огромный пожар на Малой Охте. Горит Патронный завод. Вся Охта окутана темным, почти черным гигантским облаком, его пронизывают почти каждую минуту взлеты огня от рвущихся снарядов. Что-то зловещее в этих огнях.

Сегодня выпал первый снег. Все бело кругом. Начало зимы. Конец нашей недолгой свободы.

ВОЛОГДА. Ноябрь 1917 г. Тихо катится поезд. Часто останавливается среди поля. Уныло свистит паровоз. Его уныние передается всем нам, пассажирам второго класса. Никто не знает, доедем ли живыми или случайный эшелон проезжих матросов или красноармейцев ворвется к нам, признает нас за буржуев и учинит над нами расправу. Зная это, мы все-таки

выехали из Петрограда, лишь бы не оставаться там. Переворот совершился, большевики у власти, они правители. Кто не с ними — те враги; кто с ними, тем «все дозволено», кровавая смердяковщина вступила в свои права. «Все дозволено», и солдаты бегут с фронта, хотя мир еще не заключен, захватывают поезда, отцепляют паровозы. Царство жадной и жалкой черни...

Вологда. Наконец-то. Муж встречает нас на вокзале, и мы едем на квартиру нашего товарища по организации адвоката Трапезникова. Переворот не успел еще докатиться до Вологды, и здесь тихо и спокойно. Наши петроградские переживания здесь чужды и непонятны.

— Большевики, конечно, скоро слетят? — спросил меня кто-то из товарищей плехановцев.

Я отрицательно покачала головой. Почему большевикам теперь, когда они захватили власть, слетать? Кто сможет их сбросить? Кто бы мог спасти Россию? Не партийные люди, а люди, в душе которых умещалась бы ВСЯ Россия. Вся Россия. Вот каков должен быть лозунг! Ленин не поднял массу на должную высоту, а сам спустился до нее. Дал ей несложные лозунги, внушил потребительский коммунизм, а такой коммунизм прост и не требует обоснований. Наш несчастный, неграмотный народ своеобразно понял свободу, и вместо того, чтобы разъяснить ему все его ошибки, Ленин ловко использовал его темноту.

Общественная жизнь в Вологде пока не меняется, но из Петрограда от большевиков уже приехал «свой» человек, и вологодские большевики начинают себя держать вызывающе.

Идут выборы в Учредительное Собрание. Но разве это можно назвать выборами? В одном округе разбили избирательные урны, а избирательные бюллетени сожгли, в других избиратели голосовали одновременно в двух участках.

Наблюдая технику выборов в Учредительное Собрание, можно смело сказать, что при выборах в Государственную Думу эта процедура происходила куда честнее. Тогда был несовершенный закон, но выборы были действительно выборами, а не той недостойной комедией, которая разыгрывалась теперь перед нашими глазами.

Пришло известие, что верховный главнокомандующий генерал Духонин в ставке растерзан разъяренными солдатами на

глазах советского комиссара прапорщика Крыленко. Убили и насмеялись над трупом. Подлая чернь...

В Вологде тревога и волнение: из Петрограда приехала толпа матросов, рассыпалась по городу, по большим магазинам. Вооруженные до зубов, они входили в магазины группами по 5-10 человек, забирали варенье, табак, мед... Перепуганные продавцы беспрекословно исполняли все их требования и всё выдавали им, не интересуясь узнать, кто дал им право на это самоуправство. Власти тоже растерялись. Затем матросы явились к члену Управы, заведующему продовольствием, заявили, что они опять скоро явятся и тогда уже серьезно займутся Вологдой. Когда это прощальное приветствие матросов стало известно жителям — их охватила паника. Никто уже не горевал о потерянных продуктах. Говорили лишь об одном: «Слава Богу, что так скоро уехали!»

По городу стали маршировать отряды красногвардейцев в штатской одежде, в огромных папахах, с ружьями. Интеллигентные работники в Управе, кооперативах и т. д. продолжали оставаться на своих местах, но все они уже находятся под грозным оком красногвардейцев. Создание своей вооруженной силы, вот с чего всегда начинают большевики свое управление! И по этому признаку можно предвидеть, что Вологда скоро сделается достоянием большевиков.

О какой политической работе можно сейчас думать?

Муж решил ехать в Москву.

— Может быть, там удастся возобновить борьбу с ними. Может быть, еще не все потеряно!

Товарищи умоляли Ал-ского не ехать в Москву, приводя бесконечные примеры большевицких зверств.

— Здесь больше нечего делать, — ответил Ал-ский.

Решено, мы едем в Москву. Сначала еду я с сыном, а через неделю приедет муж.

МОСКВА. 1918 год. Когда мы уезжали из Вологды, вологодский вокзал был полон только что прибывшими матросами из Петрограда. Они заняли зал I класса. Вид у всех ухарский, на лбу взбита челка, не в меру расстегнутый ворот на груди, до утрировки свободные движения, позы. Все пьяны. Публика испуганно жметя по сторонам.

Бедная Вологда! Новые хозяева уже на вокзале!

Опять я на родной Никитской улице. Но как она изменилась. Дома со следами пуль после октябрьской стрельбы. От прекрасного, огромного восьмизэтажного дома на Тверском бульваре остался один остов. Сначала в него в упор стреляли, потом он загорелся. Воображаю, что это было, когда, как факел, пылал этот восьмизэтажный дом. Но куда же девались его жители? Рассказывают, что при раскопках найдено много трупов. Я увидела развалины его вечером. Точно остатки Колизея высятся его стены на фоне ночи. Почти рядом с ним, через дорогу, другой разрушенный дом. Но от него остались лишь груды кирпичей. На углу дом Соколова весь испещрен пулями, словно лицо после оспы. Захотелось посмотреть на Кремль. Никольские ворота изуродованы, у Тайницких сбита головка... Дальше не могла идти, вернулась домой. Дома все подавлены слухами о Петрограде. Передают, будто бы убиты несколько членов Учредительного Собрания. Кто и при каких обстоятельствах — неизвестно.

Мы все собрались у мамы в ее комнате пить чай. Хлеба в этот день не выдали, и мама дала нам к чаю черных сухарей. Я послала на вокзал за нашими вещами нашего дворника, который живет у нас уже много лет. Вещи мои он привез на себе на маленьких саночках. Нанять извозчика не было возможности, они просили сотни рублей в один конец. Мой багаж немного развеселил наших. Я привезла такие дары, каких давно в Москве не видали: один чемодан был полон печеным черным хлебом, другой — мукой, в корзине было сливочное масло, мед, яйца.

— Да как ты привезла? Как не отняли у тебя красногвардейцы? — удивлялись наши, глядя на эти богатства.

Поступила я очень просто. Я заплатила кондуктору, он посадил меня с сыном в свое купе. Когда мы приехали в Москву, мы дали всем выйти, и когда вокзал опустел, мой кондуктор сдал мои вещи на хранение.

— Да! — значительно сказал дворник, — видно не перевелись еще на святой Руси добрые люди. Хороший человек вам попался.

Я поблагодарила дворника за его труды и уделила ему часть продуктов, а он принялся рассказывать, как плохо стало жить после октябрьского переворота.

- Хочу в деревню ехать. Есть нечего, дорого.
- Ну, как дорого?
- Дорого то как? Сколько вы в Вологде за мед дали?
- В Вологде фунт меда стоит 25-30 рублей.
- А тут все 300 рубликов положите, да и то не всегда достанете. Давно бы уехал, да Прасковья Васильевна все отговаривает.

Слушая рассказы о жизни в Москве, о том, как трудно доставать все необходимое, я задумалась. Как мы проживем с Григосей? Кроме политической жизни, есть жизнь повседневная. Если бы у меня не было сына, я бы ни на минуту не задумалась, а теперь, когда мы почти без средств, без заработка... Неужели придется лечь тяжестью на плечи родителей?

Рано утром приехал в Москву мой муж, а вечером мы, москвичи, узнали, что убиты депутаты Шингарев и Кокошкин, видные кадетские деятели. Убиты они не в момент восстания, не тогда, когда разгораются страсти, а в самой мирной обстановке в больнице, куда их перевезли из Петропавловской крепости. Перевезли, дали лечь, а вскоре вошли в их палату и убили штыками.

Мысленно представляешь себе картину убийства: лежали больные, вошли красногвардейцы и, ни слова не говоря, убили!.. Страшно! Какое озверение!

Учредительное Собрание разогнано. Во время заседания пришел матрос Железняк, начальник караула и сказал собранию:

— Будет! Довольно говорить! Мы спать хотим! Завтра нам опять в караул!

И председатель собрания с.-р. Чернов дал этому историческому собранию разойтись, зная, что уже завтра оно не соберется. И не только завтра, но и вообще уже вряд-ли...

В Москве манифестация против разгона Учредительного Собрания! Против разгона? Никто же его не разгонял. Разве кто-нибудь отказался подчиниться Железьяку? Разве были вызваны войска, которые разгоняли это доблестное, мужественное собрание? Увы! Ничего не было героического, чем бы могли в своей пропаганде вдохновлять своих слушателей! Бесславно, трусливо покинул Чернов свое председательское кресло, залу заседания и бросил на произвол судьбы вверенное

ему собрание. И после всего этого эс-эры позвали москвичей на кровавую манифестацию протеста. Большевики стреляли в манифестантов. Есть раненные и убитые. Среди убитых эс-эр Ратнер. Мир его праху! Он умер, а Чернов здравствует! В манифестации принимало участие много рабочих и в этих рабочих стреляло пролетарское правительство.

Дело кончено! Нет больше Учредительного Собрания, того Собрания, за которое боролись столько поколений русской интеллигенции...

Всю ночь раздаются выстрелы. На улицах темнота, из-за экономии электричества фонарей не зажигают. Мрак и выстрелы. Нет ночи, чтобы кто-нибудь не был убит или ограблен на улице. Убийства, грабежи... Чьих рук это дело? Воров или бандитов, или тех коммунистов, каких я видела в Вологде, или тех, кто убил Шингарева и Кокошкина?

Началась травля оппозиционной прессы. Газет не закрывают, но облагают колоссальными штрафами. На «Утро России» наложен штраф в сто тысяч рублей, на эс-эровскую газету в восемь тысяч. Эс-эры не уплатили штрафа, и редактор старик Минор сидит в тюрьме. Удастся ли большевикам задушить независимую прессу? Сейчас они ведут переговоры о мире. Договор должен быть подписан на-днях. Им важно, чтобы не было критики. Картина полного единения должна царить в России, хотя бы на страницах прессы, подготавливается сепаратный мир с Германией.

Детище большевиков (теперь их надо называть коммунистами) — Революционный Трибунал начал функционировать. Судят графиню Панину, первую русскую женщину министра.

Рабочий плехановец Васильев из публики попросил слово и сказал в ее защиту речь, полную негодования:

— Опомнитесь! Кого вы судите? И за что? За то, что эта мужественная женщина в годы реакции вносила свет в рабочую среду, за то, что она создала для нас рабочих клубы, школы, библиотеки, народный дом, равного которому не было до сих пор в России! Благодаря Паниной не один я прозрел!..

Графиня Панина на суде держалась с величайшим достоинством.

Революционный Трибунал оправдал ее.

С коммунистами соперничают анархисты. Они занимают особняки, ставят у входа пулеметы, своих часовых. Конфискуют имущество крупных капиталистов и тут же раздают его на улице.

Коммунисты заняли по отношению к анахристам выжидательную позицию, но вот вчера эта выжидательная позиция превратилась в наступательную. Утром Москва была разбужена грохотом артиллерийских орудий.

— Опять восстание, — пронеслось в голове.

Но вскоре мы узнали, что это брали приступом анархистов. Купеческий клуб — их штаб сдался быстро, а особняк Цейтлина, который находится в нескольких шагах от Никитской улицы, держался сутки.

Пулеметы, ручные гранаты, все было пущено в ход анархистами. Но большевицкий броневик заставил их разбежаться.

И 13 апреля большевики праздновали свою новую победу. Они применили к анархистам свой обычный вероломный способ: застигать врага врасплох ночью. Так овладели они Зимним Дворцом в октябре, так же разоружили они в Петрограде призывных, также напали на сонных анархистов. Говорят, будто бы они, подкупив часовых, убедили их испортить замки пулеметов. Насколько это верно — не знаю. Но подкупом большевики не брезгают никогда. Я помню слова Ленина за-границей: «Денег, побольше денег! С деньгами можно все сделать!» Не даром он «завел дела» с германским штабом.

Бедные наши дети! Большевики взяли и за них. Писатель Серафимович превратился в большевика. Этот вновь испеченный коммунист написал в советской газете «Известия» статью, вернее донос, где просит «правителей» обратить внимание на некоторые гимназии, а также и на самих учеников. Этот донос главным образом касался гимназии, где учится мой мальчик. Это одна из лучших гимназий в Москве — гимназия Адольфа. Во время царизма, когда в правительственных гимназиях порой царил суровый режим, эта школа была спасительным оазисом. У правительства эта гимназия Адольфа считалась слишком либеральной. Во время октябрьских дней в Москве ученики старших классов и студенты, питомцы этой гимназии, мужественно сражались в стенах Кремля, защищая эту русскую святыню от большевицкого приступа. Среди взятых белыми в плен большевиков, находился и сын писателя Сера-

фимовича, воспитанник этой гимназии. Его узнал один из товарищей по классу и сказал офицеру:

— Этот большевик мой одноклассник. Я его знаю. Это сын писателя Серафимовича.

Серафимович расплакался и стал просить у офицера пощады. Его пощадили.

Большевики вышли победителями из борьбы. И писатель Серафимович, в благодарность белым, за то, что те сохранили жизнь его сына, в своей статье-доносе называет фамилии учеников, бывших в рядах белых в Кремле, а гимназию, где сын его пробыл более пяти лет, характеризует, как «осиное гнездо контр-революции».

Статья Серафимовича вызвала бурю негодования среди литераторов. Собрание литераторов находит, что писатель может быть большевиком, меньшевиком, эс-эром, ка-детом, — это дело его убеждений, но использовать свое перо для доносов, считает постыдным для литератора и постановляет Серафимовича исключить из своей среды.

Но большевики Серафимовича вознаградили какой-то «почетной» должностью, а учеников, перечисленных в доносе, арестовали вместе с их родителями.

Эти аресты вызвали такое возмущение среди учеников этой гимназии, что родители и педагоги принуждены были принять все меры, чтобы их успокоить. Поступок Серафимовича противоречил всем этическим понятиям и традициям школы.

31 марта мы узнаем, что генерал Лавр Корнилов убит. Никто точно не знает, при каких обстоятельствах. Говорят, что снаряд попал в дом, где он находился. Теперь его может судить только история. Она оправдает и увенчает его.

Как тяжело и беспросветно!

27 апреля 1918 года — памятный день. Вечером этого дня был политический митинг, организованный «оппозицией» и на афише стояло имя моего мужа. До сих пор он, по просьбе товарищей, во избежание ареста приходил на собрания полузакрытые, брал слово, не называя себя. 27 апреля было первое его открытое выступление. Он шел на весь риск, чтобы публично протестовать против сепаратного мира.

Большой зал Дворянского Собора с белыми колоннами

ярко освещен и переполнен. Первым выступает Качалов, артист Художественного театра. Печальный грудной голос его проникает в самую душу слушателей. Он декламирует стихотворение Кольцова, в котором народный поэт оплакивает судьбу могучего леса, «не осиленного сильными, а изменнически подрезанного осенью черною».

Вслед за ним говорит Алексинский. Голос его звенит в обширном зале. Он говорит о предстоящем праздновании первого мая.

— Мы, социал-демократы, не празднуем Первое Мая в этом году. Не только мы, плехановцы, но и многие меньшевики, правые эс-эры и анархисты находят, что нам, русским, не время сейчас праздновать 1-е мая. Нет той солидарности, во имя которой провозглашен был этот великий праздник. Наша страна оделась в национальный траур. Заклочен позорный мир. Красные знамена, которыми хотят драпироваться большевики, не покроют наготу этого позора. Музыка и барабаны не заглушат плач детей, жен и матерей, потерявших своих мужей и детей во внешней войне и теряющих их в братоубийственной войне гражданской. Германский империализм и Вильгельм II торжествуют, и знамя Гогенцоллернов, которое водрузил в Москве германский посол, ярче видно, чем все красные знамена большевицкого правительства, склонившего в Брест-Литовске эти знамена перед Германией.

Ал-ский не успел закончить речь, как два латыша-чекиста быстро поднимаются с мест в публике. Один из них держит в руках какую-то бумагу.

— Арестовываю вас именем Чрезвычайной Комиссии, — кричит он.

Публика вскакивает с мест, поднимается невероятный шум. Я бросилась к эстраде. Латыш-чекист вскочил на эстраду и схватил мужа за руку. Я невольно оттолкнула его. Алексинский мне сказал:

— Зачем ты дотрагиваешься до него, Таня? Ведь, на тебе нет перчаток, — и обратившись к чекисту, спросил: — у вас есть приказ о моем аресте?

Чекист протянул бумагу. Это был обычный ордер об аресте с заранее заготовленной подписью председателя чрезвычайной комиссии. Фамилия мужа была вписана, повидимому, потом, и не чернилами, а чернильным карандашом.

— На этой бумаге нет моего имени и отчества. Где доказательства, что это именно я подлежу аресту. Я отказываюсь вам подчиниться!

Чтобы не волновать публику, мы ушли в «артистическую». Чекист пошел говорить по телефону, оставив около нас двух вооруженных людей. Тем временем публика рвалась в двери, спрашивая, где Ал-ский. Муж обратился к организаторам митинга, прося их успокоить публику, продолжать собрание и выслушать речи остальных ораторов.

Меня мучила мысль, что будет с моим сыном. Он остался один в квартире запертым. Я заперла его из боязни, что могут прийти хулиганы, постучаться. Он с испугу может открыть. Раз он заперт, то значит не откроет никому. Но мне рисовалась уже иная картина: без меня в квартиру приходят с обыском, ломают замок, разбудят мальчика грубым криком, испугают своими ружьями. При одной этой мысли я холодела. Что делать? Оставить мужа одного, отдать его в руки пьяным красногвардейцам, которые наверное явятся, как только Чрезвычайка пришлет новый ордер на арест. Я думала о Шингареве и Кокошкине, убитых матросами в больнице.

Что делать? Я была в отчаянии.

В артистическую вошел С. С. Маргулиес и тихо спросил меня:

— Не нужно-ли что-нибудь убрать у вас в квартире? Ведь неизвестно, чем все это кончится.

Я поспешила дать ключ от квартиры, прося перевести ребенка в квартиру родителей, которые жили в этом же доме, этажом выше. Просила ничего не говорить ребенку о случившемся. Затем написала несколько слов родителям.

Точно гора с плеч свалилась. Я успокоилась за ребенка, но почувствовала еще сильнее беспокойство за мужа, зная дикость большевицких нравов.

Я подошла к мужу и хотела ему сказать несколько слов, в этот момент вошел латыш и стал между мной и мужем.

— Стыдитесь вести себя как даже жандармы не вели себя по отношению к социалистам! — сказала я, но муж остановил меня на полупразе. За дверью раздался шум и топот ног. Через несколько минут в артистическую вошел член Чрезвычайной Комиссии в сопровождении толпы красногвардейцев с винтовками.

— Вы арестованы! Следуйте за мной! — обратился он к моему мужу.

— Я пойду с ним! Арестуйте и меня! Я солидарна с ним во всем...

Нас окружили и повели. Вели сначала по темным коридорам, потом мы спустились по винтовой лестнице. У выхода нас ждал грузовой автомобиль. Меня и мужа посадили на переднюю скамью. По бокам и сзади разместились красногвардейцы.

Когда мы шли на митинг, было очень тепло. Я надела легкое, шелковое черное платье. Сейчас было холодно, моросил дождь. Я дрожала.

— Не волнуйся, — сказал мне муж.

Я не ответила. Я спрашивала себя, как держать себя перед большевскими жандармами. С царскими было легче. А ведь эти когда-то были нашими товарищами по партии!

Нас привезли на Лубянку в Чрезвычайную Комиссию. Чрезвычайка находится в огромном, пятиэтажном новом доме, который был построен до революции страховым обществом «Якорь». А теперь здесь ничья жизнь не застрахована для тех, кто попадает в это помещение. Нас ввели в зал второго этажа. Красногвардейцев, конвоировавших нас, сменила другая стража.

Зал был пуст, в нем не было ни одного стула. Мы сели на подоконнике. Солдаты остались у входов. Через несколько минут в зал вошел сам председатель комиссии, ее гроза, Ф. Дзержинский. Он, вероятно, спал и его только что разбудили. Всклокоченный, ворот расстегнут, он не говорил, а вопил:

— Мы считаем вас злостным контр-революционером.

— Я предложил бы вам говорить спокойнее, — хладнокровно сказал Ал-ский, — а затем я хочу знать, почему я арестован так демонстративно на митинге? Я не скрывался до последней минуты, я жил в Москве открыто под своим именем. Адрес мой был, конечно, вам известен.

Дзержинский ничего не ответил, повернулся, вышел из зала, но вскоре вернулся опять и уже спокойным тоном сказал, обращаясь к мужу:

— Вы арестованы! А вы, мадам, можете идти, — сказал он мне.

— Во-первых, я не мадам, а гражданка, а, во-вторых,

— арестуйте и меня. Все, что говорил, говорит и будет говорить мой муж, я разделяю. Кроме того, я состояла товарищем секретаря Ц.К. нашей плехановской организации. Арестуйте и меня.

— Если вы не уйдете добровольно, вас отведут домой насильно, — ответил Дзержинский.

— Таня, — раздался спокойный голос мужа, — скажи, что подчиняешься силе и иди домой. Григося тебя ждет.

— Тебе подчиняюсь, раз ты велишь — я иду!

Я крепко обняла мужа, он поцеловал мои руки и шепнул: «Больше мужества и спокойствия!»

В сопровождении двух солдат я уходила. В дверях хотела обернуться, но сильный удар прикладом в спину протолкнул меня в коридор. Обратившись к солдату, я сказала:

— Стыдно! Бьете безоружную женщину. Я три года провела на фронте во время войны. Как ухаживала за всеми вами. А вы теперь, пользуетесь моей беззащитностью, ударили меня. Стыдно!

— Виноват, сестрица! Нам так приказывают! — ответил смущенно солдат.

Я села на стул и молча сидела, пока ко мне не подошел член Чрезвычайной Комиссии, который увозил нас из собрания.

— Сейчас вы поедете к себе на квартиру.

Я поднялась, за мной пошли солдаты, а впереди — член Комиссии. Нас ожидал на улице автомобиль. Мы сели, но между солдатами вышла перебранка.

— Ты вчера был на обыске. Сегодня я поеду. Дай мне заработать!

Оказывается, конвойные получают дополнительные рубли за каждый час, проведенный при обыске. Наконец, сговорившись, солдаты сели в автомобиль, но комиссар разрешил ехать только шестерым. Мы поехали. По дороге заезжаем в комиссариат, забрали комиссара нашего района, а затем уже приехали ко мне на квартиру. Прежде, чем приступить к обыску, пригласили председателя нашего домового комитета.

Я благодарна мужу, что он дал мне тон, каким я должна держаться с ними. Села спокойно на диван и наблюдала за ними, пока они снимали книги с полок, забирали с письменного стола рукописи. Наблюдала и ждала удобного момента, что-

бы уничтожить адреса связей и явок нелегальной организации, к которой принадлежал муж. Когда они занялись чтением рукописи первомайской прокламации, я незаметно вышла из комнаты, вошла в кухню, вынула адреса и положила в рот. Вдруг позади послышался шорох. Обернулась: за мной стоит солдат с винтовкой.

— Куда вы пошли? — спросил он.

— Я не арестованная и могу свободно передвигаться у себя в квартире, — ответила я, давась бумагой, которая застряла у меня в горле. Я быстро выпила воды и вошла в комнату мужа. В этот момент председатель домового комитета что-то вытаскивал из ящиков письменного стола. Я напомнила ему, что председатель домового комитета не может помогать обыскивать, а должен только присутствовать при обыске, как официальный свидетель.

Они закончили обыск только перед рассветом. Я попросила позволения взглянуть на документы забранные ими. Тут оказалось все, что лежало на столе и в ящиках стола. Среди них была законченная рукопись книги, предназначенной для издателей в Париже и в Лондоне.

— Оставьте эту рукопись у нас. Эта работа, заказанная французским издателем.

— Потом разберут, что нужно вернуть, — получила я в ответ.

Мне предложили подписать протоколы обыска. Я отказалась.

— Ваш обыск будет чуть ли не двенадцатый за время моей жизни. Я никогда не давала своей подписи жандармам и теперь верна своей революционной традиции.

— Но, товарищ, ведь это огромная разница, то было при царизме, а теперь это не то!

— Товарищ у товарища не делает обысков. Мы с вами не товарищи!

За меня подписался председатель домового комитета.

Уходя, член Чрезвычайки сказал мне:

— Вы можете отправить вашему мужу подушку и белье.

Он в одиночке Таганской тюрьмы.

— Почему вы знаете об этом?

— Он был отправлен туда в автомобиле Дзержинского за несколько минут до нашего отъезда сюда.

Я вспомнила, когда мы вышли на крыльцо Чрезвычайки, отъезжал чей-то великолепный автомобиль. Так это мой муж должен был так ехать в тюрьму!

Все ушли. Я осталась одна в квартире. Опять одна. Вспомнилось мне, как год тому назад, в этом же доме, в квартире моих родителей ночью 27 февраля мы радовались перевороту, видели в нем зарю свободы. Радовались, что кончились и наши собственные страдания. Я думала, что теперь мы будем всегда вместе, что мы вновь нашли свою родину. Что же случилось? Новые мучения, которым не видно конца.

Я просидела в раздумьи до самого утра. Умылась. Поднялась к родителям проведать сына.

— Мама, большевики увезли папу? А через неделю Пасха, как же он будет? — испуганно спросил меня сын.

— Не бойся, — утешала я его, — будем стараться, чтобы он не долго пробыл в тюрьме.

Была в Таганской тюрьме. Народу толпилось около ворот масса. На передачу огромная очередь. Вещи мои приняли, это значит, что он, действительно, находится в этой тюрьме. Вернувшись домой застала сына в слезах.

— Мама, мама, — плакал он. — Дети председателя Николаева — Пашка, Шурка, Васька и их друг, мальчик с соседнего двора, отец которого в Чрезвычайной Комиссии, кричали мне, что папа арестован, как контр-революционер и его обязательно расстреляют...

(Продолжение следует)

Т. Алексинская

НОВЫЙ
Журнал

92

THE NEW
REVIEW

п 34

2

900

THE
NEW REVIEW

Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать седьмой год издания

Ки. 92

НЬЮ ИОРК

1968

Гос. Публичная
Библиотека
Ленинград

Либ

10.4.49 / 14

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Р. Гуль и В. Тривас</i> — Товарищ Иван, пьеса	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	62
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	64
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	90
<i>Г. Газданов</i> — Отрывки из романа	93
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	103
<i>А. Белинков</i> — Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы	105
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	116
<i>В. В. Розанов</i> — Мимолетное	119
<i>А. Величковский</i> — Стихи	133
<i>И. Чиннов</i> — Смотрите — стихи	135
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	148
<i>Р. Плетнев</i> — О «Мастере и Маргарите»	150
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	161
<i>В. Террас</i> — «Грифельная Ода» О. Мандельштама	163
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Б. Зайцев</i> — Другая Вера	172
<i>Письма К. Федина к Е. Замятину</i> (публик. Г. Ермолаева и А. Шейна)	188
<i>З. Гиппиус</i> — Дневник 1933 г. (публик. Т. Пахмус)	206
<i>Т. Алексинская</i> — 1917-й год	219
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Д. Чижевский</i> — Эвгемеризм в старославянских литературах	254
<i>Г. Вернадский</i> — П. Н. Савицкий	273
<i>Н. Тимашев</i> — Научное наследство П. А. Сорокина	278
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Г. Газданов</i> — М. М. Тер-Погосьян	283
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Р. Гуль</i> — И. Одоевцева. На берегах Невы. <i>Р. Гуль</i> — Г. Кузнецова. Грасский Дневник. <i>О. Анстей</i> — Г. Винокур. Маяковский — новатор языка. <i>Г. Адамович</i> — М. Кантор. Стихи. <i>Ю. Иваск</i> — Г. Глинка. В тени. <i>И. Одоевцева</i> . — Ю. Терапиано. Маздеизм. <i>Ю. Иваск</i> — Я. Бергер. Ксантиппа вечности. <i>Ю. Иваск</i> — К. Леонтьев. Моя литературная судь- ба. <i>Ю. Иваск</i> — В. Перелешин. Южный Дом. <i>Книги для отзыва</i>	288

1917-Й ГОД*

Первое мая. 1-е мая 1918 г. Я долго его не забуду. Все социалистические организации отказались праздновать его в этом году. Но большевики не сдались: собрали по складам всю красную материю, обтянули все трибуны на площадях, завесили все правительственные здания, повесили флагов. На домах красуются плакаты: «Долой буржуев, спекулянтов и контрреволюционеров!» Затем выдали на каждого «едока» по четверти фунта конфет и по полфунта подсолнечного масла (за деньги, конечно!) и праздник готов. На Ходынском поле, как в старое доброе время, был дан смотр советской гвардии. Троцкий, которого войска прождали около трех часов, обошел красногвардейцев, но вместо традиционной чарки водки, мог пожаловать их только словами. По улицам двигалось шествие, участниками которого были советские служащие и солдаты. Они изображали «народ», тот знакомый нам «народ», который в Париже под окнами Наполеона требовал «наследника», а потом столь же «горячо» приветствовал Луи-Филиппа.

А настоящий народ, живой, подлинный, стоял на тротуарах зрителем, безмолвствовал, и лишь думал: «каких денег стоит этот праздник? Лучше бы нас одели и накормили». Одна из анархических газет отметила казенный характер праздника, и за это была закрыта.

На каждой площади большевики поставили по памятнику борцам за свободу. Памятники эти миниатюрны, сделаны наспех из плохого гипса, и производят жалкое впечатление, как и сам праздник этого Первого Мая. Мне вспоминается манифестация в 1905 году во время похорон социал-демократа Баумана, убитого черносотенцами. Царский режим, хотя и покачнулся в тот момент, но власти зорко следили за настроением народа и были готовы каждую минуту напомнить ему о том, что сила на их стороне. И несмотря на это, толпы, целые толпы

* См. кн. 90, 91 «Н. Ж.»

рабочих и интеллигентов, взявшись за руки по десять человек в ряд, шли за гробом. Эти ряды тянулись без конца. «Шла столышняя толпа», — так отметили все газеты эту манифестацию. Ученики консерватории, образовав оркестр, играли похоронный марш. А теперь? Советские служащие шли по казенному приказу и солдаты «по долгу службы», а военный оркестр наигрывал уличную песню «По улицам ходила большая крокодила...» Повидимому, не явился еще в Совдепии свой Руже-де-Лилль, чтобы воспеть «доблести» коммунистической власти, и потому большевикам пришлось удовлетвориться одной «Крокодилой».

Получила разрешение на свидание, которое должно состояться на первый день Пасхи. Не легко досталось мне это разрешение. Принимал посетителей помощник Дзержинского. Передо мной стояла очередь «просителей». Я была последней.

— Что угодно? — обратился он ко мне безразличным тоном.

Я назвала себя и объяснила причину моего прихода. Чиновник, с которым я разговаривала, вдруг велел закрыть обе половинки дверей, которые были до этого открыты настежь. У двери внезапно выросли два матроса. Все эти превращения случились моментально, с явным желанием произвести впечатление.

— Вы просите свидания с вашим мужем и спрашиваете причину его ареста? — громким и отчетливым голосом произнес он. — Свидания вам не дам. Арестован за то, что он контр-революционер, — произнес он как-то особенно эффектно последнее слово.

Я спокойно взглянула на него и сказала:

— Революционер, социалист не может быть контр-революционером.

Советский чиновник ничего не ответил, но, помолчав, сказал уже пониженным голосом:

— Приходите завтра сюда, мой помощник вам выдаст пропуск на свидание.

Скоро Пасха. Григося, как все дети, ждет ее с нетерпением. С большим трудом я запасла два фунта сливочного масла, один фунт варенья и две банки мясных консервов. Все это лежало у меня в чуланчике в передней. Сегодня смотрю — ничего нет. Нет никакого сомнения, что все эти продукты взяли сол-

даты во время обыска. Член Чрезвычайки послал обыскать все углы. Вернувшись с обхода, они заявили, что предосудительного ничего не оказалось. Но мои запасы исчезли. Купить снова стоит больших денег. А у меня их мало.

Досадно, что они украли у меня все. Хоть бы что-нибудь оставили. Бедный Григося останется на Пасху без масла и без варенья. Друзья обещали достать денег. Хорошо, если бы я получила их до праздника.

Сегодняшнее свидание с мужем — кошмар! По случаю праздника Пасхи уголовных привели на свидание одновременно с политическими. Свидание происходило в общей зале за двумя решетками. Виделось человек до тридцати. Когда все начали говорить, поднялся шум, крик. Уголовные ругались со своими родными — что-то не поделили между собою. По соседству с нами мускулистый арестант кричал пришедшей к нему на свидание женщине:

— Так и скажи, я не посмотрю, что я за решеткой! Мы и из-за решетки выйдем, когда нам понадобится...

Голова шла кругом, мне хотелось передать мужу многое, успокоить, сказать, что адреса и явки уничтожены, и большевики не имеют представления об его участии в «нелегальной» организации. Но среди этого шума и гама я ничего не могла вспомнить и не смела ничего сказать.

Наша квартира состоит из трех комнат. Две выходят окнами на двор, третья — на улицу. Между ними — передняя и кухня. Я заперла две смежные комнаты, и мы с сыном живем в одной. Я измучилась в поисках продовольствия. В 1912 году муж тяжело болел туберкулезом. Процесс остановился и большое легкое зарубцевалось, но врач предупреждал меня, что при отсутствии нормальных жизненных условий процесс может опять возобновиться. В большевистской тюрьме не кормят, дают лишь кипяток и кусок черного хлеба. Надо доставать продукты для питания арестованного. А что и где можно достать? Нет ни яиц, ни молока, ни масла. Наша пища — конина, кислая капуста, вобла и полугнилой картофель. Порой я не могу уже слышать одного запаха сухой воблы. Ее нужно долго, долго мочить, чтобы она сделалась удобоваримой.

Григося перешел из подготовительного класса в первый без экзаменов. У него очень хорошие отметки. Но я не рада ваканциям. Боюсь, что теперь он не будет занят в школе днем, а будет гулять на дворе, или на улице, а там бесконечные схватки между детьми. Особенно я боюсь его прогулок на улицах и в скверах: раз ребенок чисто одет, он буржуй и его надо бить. Толпа уличных мальчишек набрасывается на детей, как дикая свора, и начинается такая драка, что нет возможности их остановить или разнять.

Агитация в советской печати против интеллигенции действует на родителей, их настроение передается детям, а те свои убеждения применяют на практике. Тяжело видеть этих маленьких «коммунистов», проводящих целые дни на улице. Несчастливые дети, продукт «нового» ленинского коммунизма, занимаются спекуляцией. Целые дни проводят у дверей советских чайных, продают по невероятным ценам куски сахара, которые они получают сверх нормы, как дети рабочих. У них есть своя биржа, где они назначают цены продуктам. Они твердо держатся установленной цены. Их биржа — Смоленский рынок, Проточный переулок, Трубная площадь, Сухаревка. На вырученные деньги одни кутят, живут скверной жизнью улицы; другие, более практичные, на выручку от проданного закупают другие товары, — кокаин, табак. Многие из них уже извели все виды разврата. И это в детские годы.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспоминается прошлое. Это было лет десять тому назад, в годы нашей эмиграции.

Перед отъездом за границу мы жили в Финляндии, на даче по соседству с Лениными. В один из вечеров мы беседовали по душам, мечтали о свободной России... Мать Ленина сказала: «У Нади нет своих детей. Но когда Россия будет свободна, она народных детей сделает своими». Помнит ли Надежда Константиновна Ленина эти слова?

По злой воле судьбы ее муж стоит во главе правительства и как раз теперь дети народа проходят школу коммунизма, через разврат и преступность.

Тюремная приемная Таганки переполнена родственниками арестованных. Все мы ждем очереди на свидание. Свидание всего пять минут, но ждем долго. Хорошо еще, что приходится ждать в самом помещении. В Бутырской тюрьме ждут на улице.

Родственники и близкие длинной, бесконечной лентой тянутся вдоль тюремной стены.

Арестованы — офицеры, врачи, адвокаты, рабочие, священники, крестьяне... Недавно привезен в тюрьму священник Воскресенский. Он посажен в одну камеру с моим мужем. По отзыву мужа Воскресенский очень умный, интеллигентный человек. Он был вне политики и не принадлежал ни к какой партии. Пользовался большим влиянием и доверием у своих прихожан. Вся его вина заключалась в том, что он произносил проповеди, где ссылался на пророков Ветхого Завета. Большевики усмотрели в этом прямой протест против большевистского режима, и он был арестован. Арестовали с грубым издевательством. Держали сперва в провинциальной тюрьме с неделю, затем, разбудив ночью, велели собраться.

— Куда?

— В Москву.

— Как же я поеду в такой холод в легкой одежде? Дайте знать моим домашним, чтобы принесли в тюрьму что-нибудь теплое.

Но большевики поступили по своему и повезли его в легкой одежде. По приезде в Москву, его и еще двух священников, повели пешком через весь город в Таганскую тюрьму. Дорогой, когда их вели, большевистский элемент города глумился над ними и осыпал их насмешками и бранью. Сегодня в приемной я видела его сына. Вид измученный, состояние духа подавленное.

— Что они собираются сделать с отцом? — обращался он ко мне несколько раз с вопросом.

Я утешала его, как могла. Но он только отрицательно качал головой. Верно, его память уже хранила имена священников, расстрелянных большевиками.

Его позвали на свидание. Через пять минут, выходя, он сказал мне:

— Суд над отцом назначен в июле.

Я ничего не успела спросить: меня вызвали на свидание. Я получила свидание без решетки, хотя я имела те же пять минут, но они показались длиннее и милее.

Муж рассказал, что отношение начальства тюрьмы к нему очень корректное. Ему разрешили заниматься в библиотеке. Он

занят сейчас разборкою архива, а потом собирается написать по собранным материалам книгу.

— Да! К нам привели знаменитого епископа Варнаву. Проходя мимо его камеры, я заглянул в «волчок». Он показался мне таким несчастным и таким нездешним в своей длинной монашеской одежде с клобуком на голове. Я узнал, что он с утра сидит без пищи, и послал ему яиц и хлеба. На другой день, когда ему принесли передачу, он ответил мне тем же, послав вдобавок мне два красных тюльпана. Они стоят у меня в камере на окне.

Все чаще и чаще стали появляться в газетах сообщения, что Г. В. Плеханов чувствует себя плохо, почти умирает. Он не может до сих пор оправиться от ужасной ночи, пережитой им в октябрьские дни, когда к нему, к больному, ворвались красногвардейцы и потребовали «выдать оружие», якобы спрятанное у него.

К родоначальнику русского социализма, отдавшему всю свою жизнь на борьбу за освобождение рабочих, послали грубых, темных солдат, которые в течение одной ночи обыскивали его три раза.

Его тонкая натура не выдержала этой грубости, у него открылось кровохарканье. Он умирает; он, который первый сказал: «Если в России революция победит, то победит как рабочая революция». Он, который верил в будущее возрождение России, и сейчас же после революции поехал на свою любимую родину, поехал не через Германию, не с разрешения немецкого штаба, а через германские мины, где накануне только погиб с.-р. Карпович. Плеханов спасся от мин, но не спасся от грубой, некультурной силы, которую разбудил Ленин в русском народе и которую хотел «просветить» Плеханов. Плеханов умирает.

Плеханов умер. Умер не у себя в России, а в Финляндии, в санатории. Это известие я принесла мужу на свидание. У него стояли слезы в глазах.

— Никогда больше не услышу его, но в память его буду бороться с большевиками до конца, в его памяти буду черпать мужество!

На заседании Московского Комитета «Единство» постановлено выпустить возможно больше листов по поводу смерти

Г. В. Плеханова. Комитет организует ряд «гражданских панихид» в различных районах Москвы. На собрании Комитета нам сообщили, что извещения о «гражданских панихидах» срываются на улицах неизвестно кем.

Решили передать расклейку извещений рабочим типографии Левинсон и кроме того, мы, члены Комитета, поделили районы, где будем собственноручно приклеивать листки с извещением о кончине Г. В. Плеханова.

Сегодня я целый день без усталости бродила по моему району и наклеивала воззвания. Только уже около восьми часов вечера пошла домой вымыть руки, чтобы идти на «гражданскую панихиду».

Огромная аудитория на Девичьем поле была полна, когда я вошла туда. На стене висел большой портрет Г. В. Плеханова, перевязанный черным крепом. Я села на свободное место в первом ряду. Слово взял т. Бородулин. Он всегда умел говорить как-то особенно задумчиво, просто, а сегодня его слова звучали, как рыдания. Я чувствовала, что мое лицо было мокро от слез, но не было силы двинуться, вынуть платок, чтобы утереть эти слезы. Говорят «мертвым не стыдно», вот и я словно умерла, мне не было стыдно, ни моей ослабленной воли, ни моего распухшего лица. Это чувствовали и переживали все мы, плехановцы, пришедшие на эту панихиду. С Плехановым мы хоронили многое...

Плеханова хоронили 9-го июня в Петрограде, на Волковом кладбище, возле могил Белинского и Добролюбова.

Бородулин дал мне газету «Новая Жизнь» от 11-го июня, где был помещен отчет о похоронах Г. В. Плеханова. Когда я читала этот отчет, мне вспомнились похороны Бебеля: комитеты, союзы, группы, кружки, официальные представители пролетариата прислали прощальный привет, венки, букеты, цветы. На одной из лент было изречение Гёте: «Но ведь он был наш! Пусть звучит это гордое слово громче, чем громкий голос скорби!» Но советская власть издала приказ, чтобы петроградские рабочие не участвовали в похоронной процессии Плеханова. «Но ведь он был наш»... И сознательная часть рабочих не послушалась этого приказа и многочисленные политические, профессиональные, научные, студенческие и др. организации и множество социалистической и демократической интеллигенции

Петрограда, а также целый ряд общественных, литературных и кооперативных учреждений приняли участие в похоронах, — сообщает «Новая Жизнь».

«В 12 часов гроб на руках друзей был вынесен из помещения Вольно-экономического общества под звуки «Коль славен», исполненного матросским оркестром быв. яхты «Штандарт». Депутаций и венков было бесконечно много. Обращал внимание венков от монархиста В. М. Пуришкевича — «Политическому врагу, великому русскому патриоту Георгию Валентиновичу Плеханову...»

В 2 часа 15 минут траурный кортеж остановился на Казанской площади, усеянной сплошной массой народа. Оркестр играл похоронный марш Шопена. Небольшую речь с балкона произнес рабочий Берг от имени Собрания Уполномоченных фабрик и заводов.

К 5-ти часам вечера процессия подошла к Волкову кладбищу. Мостки, где была приготовлена могила для Плеханова, находились около могилы Белинского. Гроб поставлен у края могилы. Мимо него проходят бесконечные делегации с венками и знаменами. Прощальное слово первым произносит ближайший друг Георгия Валентиновича — Л. Дейч.

‘У Христа был только Иуда, — говорит Дейч, — среди учеников Плеханова их было много... История покажет, кто был прав. Плеханов ли, который четыре года назад заявил о необходимости защиты России или те, кто его за это называли чуть ли не изменником...’, — говорил взволнованный до слез Л. Дейч».

Газета приводит целый ряд речей: председателя совета уполномоченных фабрик и заводов, председателя общества «Культуры и Свободы», рабочего Путиловского завода. Рабочий Смирнов сказал: «Смерть этого большого человека давит мысль и чувства. Мы зарываем его в могилу в дни национального бедствия, когда страна управляется расстрелами, когда земля поливается кровью рабочих, когда у нас нет правосудия и задушено свободное печатное слово. Мы хороним Плеханова в этот ужасный момент, а русское общество хранит упорное молчание. Где те, кто так же умел бороться, как наш покойный учитель? Лед равнодушия должен тронуться или окончательная гибель неминуема».

От имени газеты «Искра» говорил один из редакторов —

А. Н. Потресов. С большим волнением он говорил: «Плеханов был нашей национальной честью, национальной гордостью, но он же стал нашей величайшей национальной жертвой».

Под пение Вечной Памяти гроб Г. В. Плеханова медленно опускают в могилу».

Дело моего мужа числится за Московским революционным трибуналом. Его ни разу не допрашивали и не предъявляли никаких обвинений. Тюрьма набита битком. В камеру к мужу поселили еще одного, хотя камера «одиночная». Между заключенными в тюрьме есть 14 и 15-летние гимназисты. Для большевиков и они опасные контр-революционеры.

В тюрьму привезли капитана Щастного. Он спас Балтийский миноносный флот от немцев, вопреки желанию Троцкого. За это попал в тюрьму. Щастного будет судить вновь созданное судебное учреждение: Верховный Трибунал, которому будут передавать людей, обвиняющихся в государственных преступлениях. Дело Щастного идет первым.

Сегодня я была в Московском Трибунале, чтобы узнать, в каком положении дело моего мужа. К моему удивлению, дело передано в Верховный Трибунал.

— Почему оно туда попало? Ведь не было ни одного допроса, из которого вы могли бы убедиться, что дело нужно перевести в Верховный Трибунал?

В ответ чиновники только пожимают плечами.

Спускаясь по лестнице, я задержалась на второй площадке из-за наплыва публики. Всмотриваясь в лица посетителей и служащих, я увидела вдруг рабочего Алексея, с которым я работала в 1905-1906 году в Замоскворецком и Городском районах партии. В 1910 году мы с ним встретились в Москве, на вечеринке в одной из народных читален на Грузинской улице, и в эту встречу он упорно проповедывал отказ от политической борьбы, ссылаясь на «бессилие рабочих». На площадке лестницы трибунала он был без шапки, с папкой под мышкой.

— Катерина Ивановна! — воскликнул он как-то растерянно и протянул мне руку.

— Ответьте мне раньше, вы здесь служите?

— Да, я работаю в архиве.

— Слушайте, Алексей! Вы, который меня знаете давно по

работе, неужели вы по совести меня можете считать контр-революционеркой?

— Что вы! Катерина Ивановна!

— Но ваше учреждение, где вы работаете, обвиняет моего мужа, значит и меня, в контр-революционности. Могу ли я вам после этого подать руку? Нет, не могу! Не сердитесь!

Я повернулась и пошла.

Мой муж объявил голодовку.

Ко мне приехала представительница Политического Красного Креста и сообщила об этом. Просила меня немедленно ехать в тюрьму и «отговорить» мужа от этого «безумного поступка». Было воскресенье, трамваи не ходили, и я пошла пешком. С Никитской до Таганки путь не близкий. Мне казалось, что я никогда не дойду. В тюрьме я была в 6 часов вечера. Начальник тюрьмы, вежливый поляк, несмотря на поздний час, разрешил мне свидание. Мой муж вышел ко мне очень бледный и вместо обычных приветственных слов, начал так:

— Я согласен на свидание, если ты не будешь меня уговаривать отказаться от голодовки.

Я молчала.

— Что Григося? Здоров?

Я ответила. Мы сказали еще два-три слова, затем муж обратился к дежурному:

— Свидание кончено! Проводите меня обратно в камеру.

Я видела, что сейчас всякая моя попытка воздействовать на мужа бесполезна. Я бросилась к адвокатам, к товарищам по организации, прося совета, что делать.

Муж продолжал голодовку. Московский Комитет «Единства» вынес постановление просить Алексинского ради интересов организации и общего дела, прекратить голодовку. Комитет отправил к нему двух товарищей, чтобы довести это постановление до его сведения. Это был уже шестой день голодовки.

В тюрьме мне сообщили, что пульс у него заметно слабеет, лежит он неподвижно, почти без сознания. Я поехала в Следственную Комиссию Верховного Трибунала требовать освобождения мужа. Мне удалось увидеть генерального прокурора Крыленко (партийная кличка — товарищ Абрам) и его помощницу Розмирович. Я сообщила им, в каком состоянии находится мой муж.

— Человек почти при смерти. Ведь не к смертной же казни вы его приговорить собираетесь!

— Оставьте нам письменное заявление, — сказала Розмирович.

— Но ведь мне дорог каждый час!

— Укажите в заявлении мотив вашей просьбы и зайдите за ответом через час, — ответила она.

Я написала. Ответ дадут через час. Этот час я бродила по улицам, не имея сил вернуться домой, ни говорить с товарищами. Через час была снова в Комиссии.

— В освобождении вашего мужа отказано. Но принимая во внимание его тяжелое состояние, вам дано право перевезти его в частную лечебницу, где он будет содержаться под караулом. Вы, как фельдшерица, можете за ним ухаживать, его друзья могут его навещать. Перевозить разрешаем только в нашем автомобиле. Вы имеете в виду какую-нибудь лечебницу? Нет. Так мы вам посоветуем лечебницу, где лежал уже раз один наш подследственный и остался очень доволен. Если вы согласны, то вот бумаги о переводе.

— Я буду у вас через полчаса. Я должна посоветоваться с товарищами.

Бюро нашей организации находилось недалеко от Комиссии. Я буквально бежала туда. В этот момент там происходило заседание Комитета. Я попросила прервать заседание, изложила положение дела и просила товарищей высказать свое мнение. Все единогласно согласились, что в таком состоянии, в каком находится сейчас мой муж, лучше всего согласиться на перевод его в лечебницу. Со мной пошли три члена Комитета. В Комиссии я спросила г-жу Розмирович, долго ли будет находиться мой муж в лечебнице.

— Пока не поправится.

— А потом, вы освободите его?...

— Весьма вероятно! Сейчас вам отказано в освобождении, потому что он так слаб, что мы не можем отдать его вам в таком виде. Когда же поправится, то дело другое, тогда мы и поговорим об освобождении.

Мне дали бумаги о переводе и разрешение товарищам сопровождать в тюрьму. В автомобиль с нами сели двое конвойных в штатском. По приезде в тюрьму начальник заявил мне,

что мой муж не хочет ни с кем видаться и ни с кем вступать в разговор.

— Но вас я все-таки проведу к нему в камеру.

Мы пошли по коридору. Сердце мое билось: как он чувствует себя? — хотелось мне спросить, но я боялась услышать плохой ответ. Начальник постучал в дверь. Загремел замок, дверь открылась, мы вошли в коридор одиночных камер. Посреди был пролет, а направо и налево узенькие балконы с перилами; на эти балконы выходило бесконечное количество дверей. Мы остановились около одной из первых.

— Отворите! — сказал начальник тюрьмы.

Опять загремел замок, зашумел засов и мы вошли в камеру.

У меня захватило дух. На койке, на грязном белье, смертельно бледный, осунувшийся, лежал мой муж. Взгляд его был безразличный, я бы сказала — остановившийся.

— Милый мой, хороший, — я стала на колени и целовала его холодные, влажные руки. — Милый, перестань голодать, поедем в частную лечебницу! Там я с тобой буду и всех друзей сможешь видеть! Поедем, прошу тебя!

— Я требую освобождения, и никуда отсюда не поеду, пока этого не добьюсь.

— Милый, освобождение придет! Ведь сразу нельзя. Уверяю, что придет! Клянусь тебе! Тебя товарищи ждут в приемной, и автомобиль тоже ждет!

— Товарищи? Зачем?

— Они привезли постановление Московского Комитета «Единство», чтобы ты прекратил голодовку, так как твоя жизнь нужна России.

— Таня, я поеду, если меня ждет освобождение. Но помни, что убийство Шингарева и Кокошкина совершилось в такой же обстановке. Если ехать на смерть, то я предпочитаю умереть здесь. Этот переезд считаю ловушкой.

В этот момент, глядя на ослабевшего мужа, и чувствуя, как исчезает его пульс под моими пальцами, я думала лишь об одном: надо как можно скорее прервать эту голодовку и сохранить его жизнь. Потому я ответила твердо:

— Не бойся, этого не будет.

Пришел фельдшер, впрыснул ему камфору, помог ему одеться. Взяв его под руку, мы повели его в кабинет начальника

тюрьмы, где ожидали его товарищи. Они обняли его, посадили в кресло и один из них начал читать постановление Комитета. Но дочитать до конца не успели, потому что я видела, что муж от слабости почти теряет сознание.

— Не надо читать! Дайте мне бумагу, я прочту ему после, — сказала я.

Мы усадили его в автомобиль. Тюремные сторожа и администрация вышли провожать.

— Кто эти два? — прошептал мой муж, указывая на двух конвойных в штатском.

— Они для охраны даны, — успокаивала я.

В лечебнице мужа положили в отдельную комнату. К нему сейчас же позвали доктора, а меня вызвали в приемную. Там сидели начальница лечебницы, офицер и 12 солдат.

— Вы жена Алексинского? — спросил меня офицер.

Я утвердительно кивнула головой.

— Посидите здесь несколько минут. А вы, — обратился он к солдатам, — встаньте так, как я сказал.

Солдаты вышли.

— Вашим друзьям, с которыми вы приехали, я сказал, чтоб они уходили. Без пропуска их не пропустят. Вы тоже можете идти. Дольше вам оставаться запрещено.

У меня потемнело в глазах, все поплыло передо мной: солдат, офицер, смена...

— Как! Уйти от больного мужа? Мне же разрешили оставаться с ним!

— А где разрешение?

Разрешение? Вместо ответа, я лишилась чувств и упала на пол. Помню лишь, как моя голова ударилась об пол. Я пришла в себя в саду, где доктор успокаивал меня. Сказал, что сегодня мне разрешили ночевать без разрешения, а завтра я должна оформить свое пребывание здесь.

— А теперь идите к вашему мужу, он несколько раз справлялся о вас. Его уже покормили.

Когда я вошла к нему в комнату, он укоризненно покачал головой.

— Ты ушла так надолго! Я уже думал, что ты не вернешься. Тут всё входили солдаты. Таня, ты обманула меня. Это не освобождение — это ловушка!

Я молчала, подавленная. На улице стемнело. Зажгли фо-

нари. По тротуару шагала фигура часового с ружьем. На душе становилось все тоскливее. Зачем я привезла его сюда? Здесь мы во власти 12-ти солдат. В тюрьме было покойнее, а тут... полный произвол и зависимость от 12-ти солдат.

Муж задремал от слабости и усталости. Я пошла спросить ключ от комнаты.

— Перед вашим приездом красногвардейский офицер вынул все ключи.

Ночью входили к нам солдаты. Я сидела и наблюдала за мужем. Начались мои бессонные ночи.

Потянулись однообразные дни. Разрешение на пребывание в лечебнице мне выдали, но об освобождении не было и речи. Муж все время лежал от слабости в постели. Обычная его температура была 35°-35,5°. В лечебнице питание было плохое и нужно было искать провизию на стороне. Большевики новым декретом разбили всех граждан на категории. Всех категорий четыре. В зависимости от категории граждане получают то или иное количество продуктов и жизненных возможностей.

К первой категории относятся граждане, работающие в ответственных советских учреждениях и также беременные и кормящие грудью женщины; ко второй — все советские служащие, рабочие и дети; к третьей — служащие не в советских учреждениях и домашние хозяйки; к четвертой — лица без определенных профессий. Четвертая категория лишала права иметь квартиру и пользоваться электрическим освещением. В четвертую категорию сейчас же переводились лица, имеющие прислугу, т.-е. «буржуи». За выполнением всех этих правил должен следить председатель домового комитета. Первая категория получала в день 1 фунт черного хлеба, вторая — 3/4 фунта, третья — 1/2 фунта, четвертая — 1/4 фунта. То же соотношение было и в других продуктах.

Я попала в третью категорию. Продукты по этой категории выдаются в незначительном количестве, их не хватает мне одной, и нечего и думать делить их с мужем. Я начала путешествовать по вокзалам в поисках хлеба, масла и сахара. По целым часам я простаиваю у вокзала, ожидая приезда крестьян с мешками.

На крестьян набрасывается масса народа. Хлеб, масло,

сало вырывают друг у друга. Интеллигентную публику осыпают насмешками:

— Ну, пришла четвертая категория! Идите, буржуи, домой!

Лечебница, где лежит мой муж, помещается на Девичьем поле. Купив кусок хлеба или масла, я бегу к мужу, где во время моего отсутствия меня заменяет мой сын. Каждый раз, когда я иду назад в лечебницу, я думаю:

— Что с мужем?

В советских газетах все чаще появляются статьи против моего мужа. Эти статьи читают конвойные. Будет вполне естественно, если у них возникнет вопрос: «Зачем мы его стережем? Не лучше ли просто убрать его?» Если случится так, то я буду чувствовать виноватой только себя: зачем перевезла его из тюрьмы?!

Зашла к Кропоткиным. Они живут неподалеку от меня в небольшом особняке на Никитском бульваре. П. А. Кропоткин нездоров, ослабел, лежит. Ему для восстановления сил прописан портвейн. Прописали... но не дали. У меня сохранилась начатая бутылка портвейна для мужа. Я быстро пошла домой и вернулась с вином к Кропоткиным. П. А. был, повидимому, очень тронут моим вниманием. Он поставил бутылку портвейна около себя на столике, пожал мне обе руки и сказал, улыбаясь:

— Возвращаете меня к жизни... Сколько мне еще надо писать, работать!... Но я слабею с каждым днем. Большевики предложили мне работать с ними, но я отказался... Не могу с ними...

Он, обессиленный, откинулся на подушку. Его жена слезла мне знак, что нужно уходить.

— А как Григорий Алексеевич? Передайте ему мой привет и выражение моей искренней симпатии и сочувствия. Я люблю его за его прямоту и смелость!

Грустная вышла я от Кропоткиных. Кропоткин слабеет. Смерть его уже караулит... Плеханова уже нет. Уходят те, которые так верили в будущее возрождение России. И оба, и Плеханов, и Кропоткин одинаково считали, что совместная работа с большевиками для них немыслима.

«Капитан Щастный приговорен к смертной казни и приго-

вор этой ночью приведен в исполнение», — прочли мы в газетах. Человек спас флот от захвата врагами и за это убит. Терновый венец вместо лаврового. Такова участь, которую большевицкая революция уготовила русским патриотам!

По ночам моего мужа начали мучить кошмары. Он видит Щастного, идущего по коридору тюрьмы на казнь. Солдат, входящих по ночам к нам в комнату, он принимает за конвой Щастного.

— Опомнитесь! Что вы делаете? Кого уводите? Русского патриота! — стонал он.

Я измучилась, глядя на него. Чувствовала, что у меня нет больше сил ни физических, ни душевных. В одну из таких ночей муж приподнялся в кровати, подозвал меня и сказал:

— Бери бумагу и карандаш! Пиши от моего имени телеграмму Ленину, пусть вместо Щастного расстреляют меня!

Я написала телеграмму.

— Иди на телеграф!

— Милый, сейчас ночь! Телеграф закрыт. Я пойду рано утром.

— Иди сейчас!

Я дала ему порошок морфия, и всячески успокаивала его. К утру он заснул.

Так нельзя дальше жить. Необходим побег. Я пошла к Д., который меня давно убеждал решиться на это. Он одобрил мое решение. Я получила адреса и связи.

Вернувшись в лечебницу, я твердо решила убеждать моего мужа, что сидеть у большевиков в плену сейчас бесцельно.

— Ты права. Я не могу больше продолжать жить так, — сказал он мне.

— У нас есть выход — это побег.

— Побег? Никогда не соглашусь. Потом они станут говорить, что я клеветник и трус, ибо бежал от суда. Нет, я не согласен. Я уже сдался раз, когда Р. М. Плеханова через тебя просила меня прекратить издание моих «Без Лишних Слов», где я обвинял Ленина в измене и получении денег от германского правительства. Тогда я остановился на полпути. Я сделал это, не желая помешать Плеханову войти в правительство. Теперь все мое дело в Верховном Трибунале основано на моих разоблачениях о Ленине. Пусть меня судят скорей.

Но я твердо решила, что побег необходим. Я привезла его в эту лечебницу, и я должна его отсюда вывезти во что бы то ни стало! Не считаясь с ответом мужа, я начала действовать. Был выработан план, намечены были люди. Оставалось лишь приступить к подготовке. Но в газетах стали появляться известия с Украины, все тревожнее и тревожнее: немецкие отряды, поставив у власти Скоропадского, расправляются с крестьянами. Эсэровская газета пишет так: «Нет крестьянина, у которого не была бы выпорота спина!» Но несмотря на это, большевики продолжают заискивать перед германским послом графом Мирбахом до холопства. Левые эс-эры в лице Марии Спиридоновой резко обрушиваются за это на большевиков.

На Всероссийском Съезде Советов Мария Спиридонова, которая сперва так восторженно приветствовала большевицкий переворот, называя его преддверием рая земного (за это получила прозвище Евы) — в своей речи обличает реакционную политику большевиков: «Если так будет продолжаться, то она, как в годы самодержавия, опять возьмет в свои руки бомбу!» В ответ на эти слова на съезде со стороны большевиков раздались крики негодования.

Через несколько дней, 6 июля, был убит граф Мирбах. Его убийца — левый эс-эр Яков Блюмкин. Левые эс-эры подняли восстание против большевиков. Настали жуткие дни. Жизнь Москвы как бы замерла. Никто не покидал своих домов. Восстание эс-эров успеха не имело; они были одни, не пожелав воспользоваться ничьей помощью, и потому их выступление было скоро подавлено.

Эти события отодвинули проект побега моего мужа.

Преемником Корнилова называют адмирала Колчака. Мой муж мне рассказывал о нем в прошлом году, когда вернулся из Севастополя. Сами матросы отзываются о Колчаке, как о человеке редкого мужества и благородства. Все эти рыцарские качества прежде были так тесно связаны с званием революционера, а теперь? Чернов трусливо бросает свой пост председателя Учредительного Собрания, а о Керенском и говорить не хочется...

Как мало рыцарского в их поведении. Наши национальные герои этой эпохи видно придут из другого лагеря.

Газеты сообщают об убийстве царской семьи... Будто бы убийство произошло в ночь на среду, 4 июля. Убиты все, все и дети! Бедные, бедные дети! Даже и их не пощадили! Кто убивал их и при каких обстоятельствах — ничего нельзя узнать. Но народная молва говорит, что царь отказался подписать Брест-Литовский мир с немцами. Где правда? Может быть, когда-нибудь история откроет нам истину. Бедная царская семья!

Здоровье моего мужа ухудшилось. Я попросила врачей при Комиссариате Здравоохранения его освидетельствовать. Приехали два большевицких столпа: Семашко и Обух. Освидетельствовав моего мужа, они не могли не признать, что у него возобновился легочный процесс. Они признали также, что для лечения необходимо прежде всего освобождение.

На основании этого заключения я собрала итти в Комиссию Верховного Трибунала к следователю Кингиссеру, которому поручено дело моего мужа. Он эстонец и, по мнению мужа, немецкий агент. Но покушение Фанни Каплан на Ленина опять задержало ход дела моего мужа. Я послала письменное заявление. Ответа не было. Состояние здоровья Ленина после покушения было тяжелое и большевики потеряли голову. Адвокаты мне советовали пока не напоминать о себе, потому что под горячую руку они могут предпринять против моего мужа что-нибудь не совсем приятное.

Интеллигентов — в том числе и врачей — травили, создали для них различные ограничения в правах, но когда Ленина ранили, сейчас же были вызваны лучшие хирурги и терапевты, далеко не коммунистических воззрений, а обыкновенные «буржуи», но светила науки, к которым врачи-коммунисты прислушивались с почтением.

Следственная комиссия прислала ответ на мое заявление: «Принимая во внимание тяжелое состояние здоровья подследственного Г. А. Алексинского, Следственная Комиссия Верховного Трибунала предлагает перевезти его в одну из лечебниц в окрестностях Москвы, под наблюдением местного Совета рабочих депутатов».

Что такое местный Совдеп? Это часто всякий сброд. Я, конечно, отказалась от предложения Следственной Комиссии.

От недостатка питания или, вернее, от систематического недоедания, от бесконечных волнений, я заболела цынгой. Я так истощена, что тело покрывается синяками, десна кровоточат, зубы шатаются.

Вчера, стоя в очереди на Арбате, у магазина Грачева за колбасой, я почувствовала себя плохо. Но я должна была получить 3/4 фунта колбасы и потому продолжала стоять. Простояв еще не более получаса, я почувствовала, что вся покрылась потом и медленно опустилась на тротуар.

Сейчас же раздались крики:

— Зовите скорее милицейского! Не видите, человек умирает!

Затем, помню, что кто-то спросил: куда отвезти?

Я пришла в себя и попросила отвезти меня в лечебницу. Я пролежала целый день. Сегодня мне лучше. Как легко умереть! Нужно торопиться с побегом.

Была опять на явке нелегальной организации, видела лиц причастных к организации побега мужа. Из соседней комнаты вышла молодая дама. На лице ее были написаны нечеловеческие страдания. Я только в скульптуре видела изображение таких мук. Двигалась она, как автомат.

— Кто эта дама? — спросила я, когда она ушла.

— Жена офицера. Ее муж третьего дня был арестован, этой ночью расстрелян. Она знает, где он зарыт и просит его выкопать и похоронить. Мы обещали ей помочь.

Горе! Всюду горе! Чужое горе, вернее наше общее, только поддерживает во мне мужество.

Мы уговорились, где встретиться и когда. Мне сообщили «пароль». После этого я поехала к родителям за сыном и отвезла его к дальним родственникам на дачу, прося приютить его, пока я улажу дела мужа.

Мне не везет с моим планом. Возникли новые препятствия: объявлена общая регистрация бывших офицеров. Происходила она при такой обстановке: офицеры с документами являлись в назначенные для регистрации казармы, но оттуда не возвращались. Это известие быстро облетело Москву. К казармам бросились матери, жены, дети, сестры, отцы. Вход в казармы им преградили солдаты-китайцы, ни слова не понимаю-

шие по-русски. Приближалась ночь, но призванные офицеры все еще не выходили из казарм. Родственники не расходились. К воротам подъехали два автомобиля. Через несколько минут из ворот казарм выходит десяток офицеров, садятся в поданные автомобили и уезжают.

Кто-то крикнул:

— Это коммунисты!

Толпа начала кричать им вслед:

— Опричники, палачи! Долой!

Кто-то отдал приказ китайцам, и те без предупреждения дали по толпе залп, другой, третий.

С криками и проклятиями толпа рассеялась. Назначили друг другу встретиться здесь же на утро. На утро толпа была вдвое больше.

Что хотели сделать с офицерами, точно неизвестно. Говорили, что хотели сделать опрос офицеров: кто желает добровольно итти на службу в армию к большевикам? Будто бы несогласных предполагали сначала отправить в концентрационные лагеря, как контр-революционеров. За точность не ручаюсь, но знаю, что обеспокоенные протестом и вмешательством родных, большевики решили освободить офицеров группами. Я видела офицеров, которым пришлось пробыть там два дня. Оба дня они пробыли без пищи, ночью лежали на грязной земле казарменного двора. Каждый заданный им вопрос сопровождался невероятной бранью конвойных солдат. За что все это? За то, что эти офицеры исполняли свой долг во время войны?

Регистрация, результаты которой трудно было предвидеть, заставила многих офицеров скрыться из Москвы. Среди скрывшихся были главные организаторы побега моего мужа. Но я все-таки не теряла надежду. Больше всего мне хотелось убедить мужа, чтобы он согласился бежать. Его здоровье оставалось плохим. Он не вставал еще с постели и, лежа, работал над выписками из архива Таганской тюрьмы.

Я подседа к нему на постель и шопотом стала рассказывать о благополучных хлопотах об освобождении и говорить о медлительности, с которой двигается его дело. Я уверяла, что большевики не доведут дело до суда, им это не выгодно. Они предпочитают вечно держать его под замком.

— И ты превратишься в того человека в железной маске, о котором писал Вольтер, — сказала я.

Муж слушал меня молча. Тогда я стала убеждать его, что побег это единственный выход из тупика, в который мы попали.

Я убеждала долго и подробно. Муж слушал меня. Не спорил, не возражал. Сказал лишь два слова:

— Хорошо! Согласен!

И снова принялся за рукописи, как будто ничто не должно было измениться в его положении.

Мне нужно было часто уходить по делам, но, как нарочно, все время сменялся конвой, и к моему мужу посылали людей грубых, врывающихся ночью в его комнату и нарочно беспокоивших его.

— Иди, не бойся, — говорил муж.

Я уходила.

Все подготовлено. Назначены патрули, спутники, сигнальщик и ответственный организатор побега. Мне объяснили сигналы, дали адреса, где мы будем скрываться. Накануне побега ко мне зайдут на мою городскую квартиру за бельем, которое переправят на конспиративную квартиру для передачи нам.

Ночи были темные, и организаторы были уверены в удаче.

В назначенный день я была на своей городской квартире. Жду час, другой, третий... Никого. Стемнело. Никто не пришел. Что случилось? Все погребло! Я едва дошла до лечебницы.

— Не удалось? — спросил меня муж, увидя мое расстроенное лицо.

— Никто не пришел!

Новый неожиданный сюрприз: лечебница предъявила мне огромный счет за содержание и лечение мужа. Я все время думала, что эта лечебница — большевицкое учреждение, так как до приезда мужа здесь лежал больной большевик.

Я уплатила. Все деньги, данные организацией на лечение мужа ушли на покрытие счетов лечебницы. У меня осталось лишь несколько десятков рублей. А впереди ничего нет. Нужно снова искать денег. В поисках их, я случайно столкнулась на улице с одним из офицеров, членов нашей нелегальной организации. Он был в штатском, усы сбиты. Трудно его узнать в

таком виде. Но я сейчас же узнала, вернее почувствовала. Он сделал мне знак, чтобы я шла за ним. В одном из безлюдных переулков мы остановились, и он сказал мне:

— К вам не зашли, потому что исполнительное бюро арестовано, и квартира опечатана. Нам удалось узнать причину провала: адрес бюро был найден при обыске у одного из наших курьеров, переходивших границу Совдепии. Курьер расстрелян. Адрес бюро был расшифрован, и бюро арестовано. Четверо наших расстреляны этой ночью. Сегодня ночью я уезжаю. Прощайте!

Все надежды на побег погибли. Денег на лечение не достала, а через десять дней — новый срок платежа.

— Неудача? — спросил меня муж, когда я вернулась.

Я рассказала ему про встречу с офицером, про мои поиски денег: один уехал, другой не может получить из банка, и наконец, наши иностранные деньги, которые муж привез, возвращаясь из заграницы и которые у меня хранились на черный день, никто не хотел разменять. Все боялись держать у себя «валюту».

— Я потребую перевезти меня снова в тюрьму, — сказал муж.

Я начала убеждать, что с этим торопиться нечего, а нужно ждать большевицкого праздника, годовщины октябрьского переворота. По случаю этого праздника большевики готовят амнистию. Может быть, он подойдет под нее. Муж молчал, продолжая работать над архивом.

Большевики объявили амнистию. Огромные афиши висят на заборах и углах улиц. Об этом мне сообщила одна из нянь лечебницы, которая трогательно привязана к нам.

Накинув платок, я побежала на улицу. Быстро прочла, но в глазах у меня замелькало, и я ничего не поняла. Прочла второй раз... третий... Нет никакого сомнения, мой муж подходит под I пункт: он привлечен по литературному делу, и его держат более шести месяцев, не предъявляя обвинения! Я быстро списала на клочок бумаги весь текст первого пункта и бегу к мужу.

— Тыходишь под амнистию. Я иду в Следственную Комиссию! Я не хочу, чтобы ты пробыл здесь лишний час!

В Следственной Комиссии Верховного Трибунала ко мне выходит секретарь г-жи Розмирович, шеголеватый молодой человек, типа бульварных «жиголо», с идеальным пробором на голове.

— По какому делу? — осведомился он.

— На основании амнистии пункта I, я прошу освободить моего мужа в экстренном порядке.

Через несколько минут меня зовут в кабинет г-жи Розмирович.

— Почему вы просите освободить вашего мужа в экстренном порядке? — спрашивает она.

— Потому что через два дня истекает срок платы в лечебнице, и у меня нет средств платить. Плата эта непосильна для нас, поэтому для меня важен каждый день.

— Раз у вас нет средств платить за лечебницу, мы переведем его в Кремль.

— Как, в Кремль? Да ведь он подпадает под амнистию!

— Нет, он не подлжит ей. Для вашего мужа нет амнистии.

— Вы хотите перевести моего мужа в Кремль, потому что у меня нет средств содержать его в лечебнице? Вы караете меня за недостаток средств! Вы, которая называете себя коммунисткой! Это вы — пролетарско-социалистическое правительство караете людей за беднежье!

Я потеряла всю свою сдержанность, чувствуя, что последняя надежда на освобождение мужа исчезает.

Г-жа Розмирович сидела спокойно передо мной в кресле и, поглаживая медленно руки, говорила нараспев:

— Напрасно вы волнуетесь! Он попадет в еще лучшие условия. Мы переведем его в Кремль, поместим его во дворец.

При слове «дворец», она с трудом скрыла злую усмешку.

— Но ведь нет и месяца, как вы прислали мне бумагу, где предлагали мне перевести моего мужа за город, повидимому, учитывая тяжелое состояние его здоровья.

— Но ведь вы нам тогда ответили отказом, если я не ошибаюсь.

— Дело в предложении, а не в моем ответе. Санатория за городом и Кремль! Где же связь? Ведь Кремль не санатория!

— Лучше санатории! В Кремле — дворец, а дворец всегда останется дворцом, — насмешливо ответила она.

Нет, это ужасно, когда женщина выступает в роли палача. Какими простодушными показались мне царские жандармы, которые меня столько раз допрашивали и которых скорее я изводила, чем они меня. Те ссылались на законы и параграфы... А эта садистка, — на что?

— Почему вы сами не исполняете своих же декретов, хотя бы этого декрета об амнистии? Пункт первый точно написан для моего мужа, — возвращаюсь я к начальному вопросу беседы.

— Будьте любезны сообщить нам, будете ли вы в дальнейшем платить в лечебницу или нет? — сказала, не отвечая на мой вопрос, г-жа Розмирович, и поднялась с кресла.

— Я вам дам ответ завтра.

Муж мой уже не спрашивал о результатах моего посещения Следственной Комиссии. Он просто попросил у меня чернил и бумаги. Написал заявление, где указал, что дело его подходит под амнистию, но если большевики сами толкуют свой декрет иначе, то пусть переводят его в тюрьму, потому что у его семьи нет средств платить за лечебницу.

Мне не верилось, что они переведут его в Кремль или в тюрьму. Я была уверена, что амнистия все-таки будет применена к нему. Но на всякий случай после отправки заявления мужа, я приготовила ему белье, еду и немного денег.

В день окончания расчетов с лечебницей, к подъезду подъехал автомобиль. Вышел офицер с бумагой о переводе мужа в Бутырскую тюремную больницу. Я помогла мужу подняться с постели, одеться. Мое сердце разрывалось от боли, я не могла ничего сказать. Муж вышел, опираясь на мою руку, сел в автомобиль, офицер рядом с ним.

— Я поеду проводить до тюрьмы.

Офицер ничего не ответил. Я села. Всю дорогу мы молчали, слезы бежали из моих глаз. Проехали Пречистенку, Никитский бульвар, Никитскую, Садовую. Скоро тюрьма, опять отнимут его у меня. Вот ворота. Запираются за ним двери, — на сколько времени? Надолго ли? Мы въехали в ворота. Остановились у конторы. Офицер сдал бумаги и удалился. Пришел дежурный, принес казенную арестантскую одежду и шапочку.

— Успокойся, прошу тебя! Прощай, моя хорошая!

Муж поцеловал мою руку, и его повели в палату тюремной больницы.

Сына своего я перевезла домой. Дома пусто, холодно, голодно. Я предложила ему пойти обедать в советскую столовую на Новинском бульваре. Меня всегда охватывает ужас, когда я вхожу туда: за столом, покрытом грязной клеенкой, сидят истощенные голодные люди — рабочие, барышни, дамы, служащие, женщины в платках, офицеры в поношенных шинелях без погон. Все жадно едят, вилок, ножей нет. Суп едят ложками, рыбу, точно дикари, рвут руками. Меню почти всегда одно и то же: суп и маленькая сухая вобла, вываренная в супе. Хлеба не полагается. Иногда к рыбе дают кислую капусту. Такой обед стоит 5-6 рублей. Все частные рестораны и столовые закрыты, и потому волей-неволей идешь сюда. Как мы ни были голодны, мы не могли доесть рыбы, — она была несвежая. Вдруг к нам быстро подходит какая-то старуха, прилично одетая, и спрашивает:

— Вы кончили обедать?

Получив утвердительный ответ, она схватила остатки нашей рыбы и стала жадно есть.

— Мама, мне страшно, — сказал сын шопотом.

— Да, милый, и мне тоже. Идем скорее!

Я уже не хожу так быстро по улицам, мне больше не надо торопиться к мужу, в лечебницу, и я только теперь замечаю, как изменилась Москва. Все частные магазины закрыты, окна и двери заколочены. Особенно как-то жутко ходить по большим улицам, как Тверская, — точно ураган пронесся, движение прекратилось, извозчик историческая редкость, на улицах часто по два, по три дня валяются трупы палых лошадей с вырезанными из них кусками мяса. Из огромной сети трамваев, которыми перерезана вся Москва, действуют лишь две линии: бульварное кольцо А, и Садовое Б. Автомобили все реквизированы большевиками, и только они нарушают покой улиц своим шипением. Но по ночам от 12-3 утра автомобильные гонки стали обычным явлением. Это «советские» со своими дамами, закутанными в меха, забавляются, пугая сонных жителей своим криком, хохотом и визгом.

Когда национализировали «для народа» меховые магази-

ны, то первыми явились туда жены коммунистов и позабিরали все, что приличествует для нуворишей революции. В то время, когда представители коммунистической партии так старательно следят за туалетами своих жен, «плебеи» без различия партий, получают на целый дом, в котором до 70-100 жителей, по два «талона», дающих право на две пары сапог. Одеть в российские морозы пятьдесят пар ног в две пары — занятие трудное, и в результате в Москве сейчас сильно свирепствуют болезни в особенности «испанка», которая косит людей.

Получила записку от мужа, просит, чтобы я принесла еды побольше — не для него, а для других заключенных: кругом одни скелеты. Пишет, что в соседней палате лежат проворовавшие большевицкие чиновники; «передачи» им приносят огромные, и они все съедают одни, торопятся, чтобы кто-нибудь не попросил. — «Если бы ты знала, как это омерзительно!» — заканчивает он свои записки.

Как я провожу теперь время? Встаю с зарей, иду на вокзал за продуктами, иногда удается достать бутылочку молока. Тороплюсь домой напоить сына чаем и отправить в гимназию. Затем жарю на щепках котлеты из конины, варю на керосинке картофель и бегу передать это в тюремную больницу. Чтобы передать сверток, ждешь около стены часа два-три. К трем часам возвращается из школы сын, нужно его покормить, но он у меня стал неприхотлив, ест черный хлеб с соломой, вареную морковь без масла и сыт. После «обеда» говорим об отце, — без всяких надежд на будущее, а вечером, когда он садится учить уроки, я иду делать «уколы», перевязки — теперь это мое средство к существованию — и все пешком, пешком!...

Сегодня очень холодно. Мороз. Падают снег, а мы стоим у ворот тюрьмы, ждем очереди для передачи провизии или пропуска на свидание. Нас много, мы вытянулись длинной лентой вдоль тюремной стены и ждем. Ждем без конца, пока нас впустят в тюремную контору. Но туда пускают по 6-8 человек, и мы очень медленно продвигаемся к двери. Я гляжу на ожидающих. Тут и рабочие, и интеллигенты.

— За что ваш сидит? — спрашиваю я худощавого рабочего.

— Мой брат-то? Да он эс-эр, за несочувствие большевикам.

— Давно?

— Уже третий месяц.

— Допрашивали?

— Нет еще.

— А ваш? — обратилась я к пожилой даме.

— Мой сын офицер, арестован на вокзале, сидит четвертый месяц. Допроса нет.

А вот и старушка пришла, моя знакомая незнакомка. Мы всегда с ней встречаемся, и она всегда со своим неизменным вышитым кулечком. Навещает сына. Хотел он спирт на муку обменять.

— На вокзале это было, — рассказывала она как-то своей соседке, — а красные и арестовали. «Ты, говорит, спекулянт». Спирт не вернули, а его арестовали. Вот заболел в тюрьме, простудился, перевели в больницу.

Ждем мы все у тюремной стены, ждем, когда увидим дорогих нам людей. Наконец, мы в помещении тюрьмы. Наши вызваны. У меня личное свидание, я увижу без решетки. Вот идет мой муж, он в арестантском халате. Мы целуемся. В этот момент он быстро шепчет, куда и к кому мне надо пойти после свидания, чтобы сообщить, кого из близких перевезли сюда, и так же быстро сует ворох записок, которые я положив в конверты, должна разнести по адресам. Мы не успели поговорить о самих себе, как раздается голос:

— Свидание окончено!

Уже! Как быстро прошли те пять минут, из-за которых мы зябли три часа у ворот тюрьмы! Надо спешить домой. Может быть, сын уже пришел из гимназии, и опять избитый. Не вижу конца этим раздорам между обольшевиченными школьниками начальных училищ и гимназистами. Характер сына стал заметно меняться. Эта вечная вражда детей между собой, вечное оглядывание назад: не нападет ли кто сзади? — делает ребенка недоверчивым и скрытным.

Епископ Варнава — ставленник Распутина — еще летом написал большевикам покаянное письмо, где он предлагал им свои услуги по организации церкви на большевицко-коммунистических началах. Православное духовенство возмутилось

этим письмом, потому что все прекрасно поняли, что Варнава не сочувствует большевикам и, предлагая им свои услуги, поступает не по убеждению, а ради выгоды изменяет православной церкви. Большевики, опубликовав это письмо, холодно отклонили его услуги. Прошло несколько месяцев и возмущение, поднявшееся вокруг Варнавы, стало затихать. О нем почти забыли. Потом мы прочли в газетах, что Варнава заболел и переведен в тюремную больницу при Бутырской тюрьме.

Вчера я была невольной свидетельницей исторической сцены: на свидании муж, разговаривая со мной тихо и спокойно, передавал по обыкновению свои поручения. Вдруг вижу, как меняется лицо моего мужа, сначала бледнеет, потом краснеет, он быстро поднялся с места и резко сказал:

— Прошу не подходить ко мне с вашим благословением после того, как вы предложили большевикам использовать ваши услуги для организации новой церкви, которая поддерживала бы их!

Я сидела, ничего не понимая. Я видела, как к моему мужу подошел удивительный по своей змеиной фигуре монах в мантии и клобуке, протянул ему руки, а в ответ раздалась отповедь мужа. Монах, как побитый, быстро повернулся и отошел.

— Это Варнава, — сказал, тяжело дыша, муж, когда сел опять со мной рядом.

В тюрьме и тюремных больницах свирепствует сыпной тиф. Теснота, грязь, голод не замедлили сказаться. В палате моего мужа уже было несколько случаев заболевания. На последнем свидании он еле держался на ногах, температура 39,0°.

Несмотря на это он пришел в легком халате. Итти пришлось через двор, а на улице метель, холод.

— Не заразился ли ты тифом?

— Нет, не бойся! У меня, вероятно, воспаление легкого начинается, меня душит кашель. Но начальство должно принять меры против тифозной эпидемии. Вчера я потребовал вызвать в тюрьму народного комиссара здравоохранения и просил его посмотреть, в каком состоянии находятся наши палаты, и те, где лежат больные тифом.

— Прошу тебя, дай мне знать, если у тебя будет ухудшение.

— Не надо говорить обо мне. Прошлой ночью из нашей

палаты увели на смертную казнь. У одного была высокая температура, вряд ли он сознавал, а другой, казачий офицер, не торопясь передел чистое белье, помолился Богу, попрощался со всеми нами, так просто и мужественно... Он все время у меня перед глазами!...

Его прервал крик надзирателя: «Свидание кончено!»

На следующее утро я опять была в тюрьме, чтобы передать пищу и справиться о здоровье мужа. Служитель сообщил мне, что температура повышается, но что, «мол, просили кланяться и сказать, что все хорошо».

Прошел еще день. В среду, т.-е. на третий день после моего последнего свидания, я была опять в тюрьме. Это был день свиданий. Прождала в конторе более часа, а потом мне заявили, что свидания не будет, потому что врачи признали у мужа тиф, и он перенесен в тифозный изолятор. На следующее утро я справилась по телефону о его здоровье. Состояние тяжелое, без сознания, температура 41,2°.

Я бросилась в тюремную больницу, вызвала главного врача.

— Он плох, очень плох, не ручаюсь, что перенесет кризис.

Из тюрьмы я бегом бежала в Охотный ряд в санитарный отдел Городской Управы, где по утрам принимал Комиссар Здравоохранения доктор Н. А. Семашко, который когда-то лечил мою свекровь и мужа. Это было в Женеве.

— Мой муж умирает! Освободите его хоть теперь, отдайте его мне, я буду сама за ним ухаживать, а если умрет, то пусть умирает на моих руках, а не в тюрьме!

Семашко пошел в соседнюю комнату, позвонил по телефону. Вероятно, он справлялся у тюремного врача. Вернувшись он сказал:

— Хорошо! Вы можете перевезти вашего мужа в больницу, какую вы выберете сами. Вы хотите в Солдатенковскую? Хорошо. Поезжайте сейчас в тюремную больницу, там уже будет телефонограмма о том, что вы можете взять мужа из тюрьмы.

— Разрешите мне за ним ухаживать в больнице.

— Нет, не могу! Вы можете заразиться и таким образом распространить эпидемию.

— Что я заболела, это неважно! Мой муж умирает, а вы

говорите, что я могу заразиться! Меры против заразы я все приму, я ведь фельдшерница, на эпидемиях бывала.

— Хорошо! — ответил он, — автомобиль для перевозки вы вызовете по этому номеру, — он протянул мне бумажку, — вызовите от моего имени. Вы все поняли, что я вам сказал? — пытливо взглянул он на меня. — Берегите эти две бумаги. На одной разрешение вам на пребывание в больнице при муже, другая с номером телефона.

— А в телефонограмме будет сказано, что это освобождение? Если мой муж выживет, неужели опять тюрьма?

— Нет! Это — освобождение!

Я поблагодарила и вышла из его кабинета.

Это первый из большевиков, который за эти восемь месяцев говорил со мной по-человечески. Как благодарна я ему!

В этот день был сильный мороз, но в беготне я ничего не чувствовала. В тюрьму я пришла около пяти часов. Меня позвали в кабинет главного врача.

— Телефонограмма получена. Хорошо делаете, что берете вашего мужа, — сказал он мне.

Я спросила о состоянии его здоровья.

— Состояние? Неважно, неважно! Увозите его скорее! Я пойду его сейчас проведу.

Я осталась в кабинете одна. Слова доктора на меня произвели впечатление, будто он боялся, что мой муж умрет в тюремной больнице.

Доктор вернулся с обхода и собирался идти домой. Он тщательно мыл руки в сулеме и говорил мне:

— Ваш муж без сознания, не узнает никого, бредит немало.

Уходя, он сказал мне:

— Садиться с ним в карету я вам запрещаю, она кишит насекомыми. Вы сядете рядом с шофером. Я отдал уже распоряжение.

Кантора опустела, служащие ушли, остался лишь один сторож. Автомобиль все не приезжал. Я позвонила по телефону, данному мне Семашко. Ответили, что шофер уже выехал. Поздно вечером, часов около десяти, к воротам тюрьмы подъехал автомобиль. Раздалась сигнальные звонки, один, другой, и автомобиль въехал в тюремный двор. Я вышла на двор.

Мороз все крепчал. Из внутреннего двора распахнулись ворота, и я увидела моего мужа. Боже мой! Мне кажется я никогда не в силах буду забыть: его несли на носилках в одном белье, без шапки, покрытого летним одеялом. В такой мороз! Он был без сознания, щеки пылали, глаза ярко блестели. Носилки его поставили прямо на пол в автомобильный фургон. Я бросилась внутрь фургона. Двери захлопнули, и я осталась с ним. Я накрыла его голову моей большой муфтой, а его самого моей широкой теплой шубой. Дорога была убийственная, автомобиль бросало из стороны в сторону. От одного из толчков муж застонал и сказал мне:

— Держи мне голову. Кровь сильно идет из раны. Это большевики меня ранили в голову. Держи же крепче!

— Держу, крепко держу!

Я держала его голову, которая пылала от высокой температуры.

Вот в каком состоянии они возвращают его мне.

Переезд в больницу казался бесконечным. Автомобиль остановился у конторы. Из конторы носилки мужа поставили на маленькие салазки и повезли в один из корпусов, предназначенных для тифозных больных. Я старательно укрывала его одеялами, взятыми из конторы.

— Да вы не беспокойтесь, — утешал меня веселый парень, который вез санки, — вашему супругу очень тепло, они так и пылают. Да и больному человеку куда же больше простудиться, раз он уж и так заболел.

В тифозном корпусе сестра приняла бумаги и начала записывать имя, фамилию, звание моего мужа. Все шло хорошо, пока я называла имя, годы, профессию. На вопрос сестры: звание, — я ответила, как значилось в паспорте: «потомственный дворянин».

При этих словах муж мой, который лежал молча, подозрительно взглянул на всех нас и сказал:

— Не потомственный дворянин, а член Государственной Думы от Петрограда. Так и запишите, — вдруг заволновался он.

Сестра стала успокаивать и уверила, что записала, как он хочет, но на самом деле «потомственный дворянин» красовался на скорбном листе. У большевиков официально сословные зва-

ния еще не были отменены и потому во многих учреждениях продолжали записывать и сословие.

После всех мучений мы, наконец, в чистой, маленькой отдельной палате, окружены милыми сестрами. Не вижу больше солдат со штыками.

Десять ночей я провела без сна, волнуясь в ожидании кризиса. Ночью, часов около трех утра, муж позвал меня:

— Таня!

Я подошла, думая, что он пришел в себя. Окликнула его. Ответа нет. Я взяла его руку. Она была холодна, как лед. Я поставила термометр. Температура 35°.

— Кризис!

Персонал спал. Дежурная сестра дремала. Я сама вприсынула камфору. Пульс чуть слышен. Еще один шприц. К ногам положила грелку и стала растирать его тело щеткой с одеколоном. Я чувствовала, как оно постепенно оживало под моими руками. Он весь покрылся потом. Я позвала няню, мы переодели его в чистое белье и закутали одеялами. Теперь он спасен. Я села около него на стул и задремала.

— Что ты, как страж, сидишь около меня? — проговорил мне муж.

Я вскочила. Было уже светло. Муж сидел на постели, повидимому, плохо помня, что с ним было. Я не успела даже умыться, как вошел доктор. Взглянув на мужа, затем на температурный лист, он сказал:

— Поздравляю вас! Вы через смерть перешагнули!

Я дрожала от волнения. Когда ушел доктор, я поцеловала мужа и сказала:

— Ты теперь здоров! Но только благодаря этой болезни ты теперь свободен!

Я пошла в контору больницы и протелефонировала родителям, что кризис миновал, прося прислать портвейну, минеральной воды и камфоры, потому что камфора была в больнице в очень ограниченном количестве, а вина и минеральной воды не было совсем. Но в полдень разразился страшный буря. Метель свирепствовала целый день и только к утру другого дня успокоилась, оставив после себя горы снега, поломанные деревья и занесенные улицы.

На другой день я пошла к себе на городскую квартиру, зная, что принести мне камфору и вино некому, потому что все

будут заняты уборкой снега, который по декрету должны убирать жильцы домов. Больница, где лежал мой муж, находилась почти за городом, на Ходынском поле, и до дома я шла более двух часов. Подходя к дому, я увидела, что все наши были за работой; среди других жильцов, работали мама и мой сын. Он был по пояс в снегу и, раскрасневшись от работы, разгребал снег огромной лопатой.

— Мама идет! — закричал он.

— Ради Бога, не подходи ко мне! Я боюсь тебя заразить! Я поговорю только с бабушкой.

Мама передала мне вино и лекарство, и я двинулась в обратный путь.

Муж быстро поправляется, но он очень слаб и худ. Врач находит, что выздоровление идет хорошо; признак особенно хороший, это то, что у него появился аппетит. По утрам я оставляю мужа на попечение сестер милосердия и иду в город за провизией. Трамваи из-за снежных заносов не ходят до Петровского парка, и я буквально прыгаю с сугроба на сугроб. Это ужасно утомляет. Вчера, идя из больницы в город новым путем, через Пресню, я увидела огромный воз прекрасных березовых дров. Парень, который погонял лошадей, показался мне добродушным, и я решила с ним заговорить.

— Тяжело лошадам, — сказала я.

— Тяжело-то тяжело, да и ленива вот эта. Ну! Поворачивай, буржуй! — убеждал он лошадь, ударяя кнутом.

— Куда дрова везете?

— На Тверскую, в Совдеп.

— Это как раз по дороге. Не продадите ли вы мне несколько полен?

— Верхушку сниму. Сколько дашь?

— А вы сколько хотите?

— Сто рублей царскими.

— Хорошо.

— Теперь ты иди, не оглядывайся! Я поеду за тобой. Перед воротами, где живешь, я уроню несколько полен и въеду к тебе, будто увязать воз.

Я все исполнила, как сказал парень. Он оказался честнее, чем я думала. На дворе он набросал мне чуть не четверть своего огромного воза. Прощаясь, сказал:

— Тебе нужнее, а те, душегубы, и без этих поленьев не сдохнут!

Пока я складывала дрова в сарайчик, на дворе появилась жена председателя Николаева.

— Откуда дрова?

— Знакомый комиссар прислал, — не моргнув, ответила я.

Магическое слово «комиссар» сразу возымело свое действие, и Николаева исчезла так же быстро, как появилась.

Завтра я перевожу мужа домой. В больнице я тщательно вымылась в ванне, передела чистое белье, продезинфицировалась и пошла к родителям, у которых не бывала за все время болезни мужа. Все были дома. Отец передал мне деньги: одному нашему товарищу удалось разменять мою «валюту». Сын торжественно вручил мне плитку шоколада, которую он по случаю наступающего Рождества получил по детской продовольственной карточке.

— Это передай папе от меня!

— Может быть, хочешь кусочек себе оставить? — спросила я.

— Нет, нет, ему нужнее! Я сыт!

«Сыт»! Я знаю, чем он сыт! Я при всем голоде не могу иногда есть этот колючий хлеб, морковь и «котлеты» из картофельной кожуры, жаренные на каком-то подозрительном масле, которое мы употребляем уже третий месяц. Что это за масло? Мы не можем решить. Лампадное или машинное? Нас уверяют, что «растительное». Пусть будет растительное!

Сейчас я одна в своей квартире. Она приведена в порядок, стерта пыль, вытряхнуты ковры, постелено чистое белье, затоплена печь. Я сожгла много дров, но комната нагревается слабо. За этот месяц в квартире никто не жил, и стены успели промерзнуть. Две комнаты, выходящие на двор, придется держать закрытыми, — топить нечем. Будем жить в одной, которая выходит на улицу. Она больше, веселее и теплее, потому что на солнечной стороне, и в ней два окна. На диване будет спать муж, а я с сыном на кровати. Жить можно, теперь многие люди и хуже живут. Чтобы придать комнате окончательно приветливый вид, я покрыла чайный стол единственной уцелевшей чистой скатертью. Только теперь чувствую, как я устала. От

усталости дрожат ноги и руки. Сегодня меня целый день знобит. Уж не заразилась ли я тифом? Не думаю! Это просто усталость сказывается: волнения, бессонные ночи, хождения пешком и ощущение постоянного голода. Последнюю ночь проведу в больнице, а завтра вечером будем опять все трое вместе. Страшно радоваться вперед!

(Окончание следует)

Т. Алексинская